

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Евгений Шишкин
Сестры 25
(Картинны провинциальной жизни)
Юрий Козлов
Белая буква
(Глава из повести) 95

ПОЭЗИЯ

Александр Мосинцев
Стихотворения..... 13
Анатолий Аврутин
Стихотворения.....89
Геннадий Иванов
Стихотворения.....141
Алла Халимонова-Мельник
Стихотворения..... 147
Николай Бондаренко
Стихотворения..... 155

ПУБЛИЦИСТИКА

Тамара Дружинина
Откровения души
Михаила Литвинова161

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Владимир Бутенко
«Судьба моя – в большой
судьбе России...» 3

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов,
Олег Парфенов
Долгожданное победное
шествие 177



*Литературное
Ставрополье
№ 1 (2018)*



ББК 84(2=411.2)64
УДК 821.161.1(470.63)-8
А72

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова**

**А72 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь, 2018 г. – № 1.**

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: Ю.П. Шаталов


Дизайн и верстка: А.В. Климов

Корректор: В.Б. Иванов

Сдано в набор 07.07.2016. Подписано в печать 28.06.2018.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ  л. Тираж 979 экз.

Отпечатано  в типографии «Фаворит»  л. Трудовая, дом 50, кв. 10.

Тел.: 8-958-649-53-31.

ISBN 978-5-6041333-3-0



К восьмидесятилетию
Александра Мосинцева

**«Судьба моя –
в большой
судьбе России...»**

1

Известный ставропольский поэт Александр Федорович Мосинцев (1938–2010) оставил нам высокохудожественное и весьма разностороннее литературное наследие. Однако сборники его стихотворений, изданные десятилетия назад, с немалыми временными разрывами, разлетелись светлой стайей по библиотекам и частным собраниям и не позволяют – по причине отсутствия итоговой книги – составить объективное представление о масштабе личности поэта, представить его творчество в полном объеме, оценить и понять истинное значение поэзии Мосинцева. А между тем он учился в Литературном институте вместе с Юрием Кузнецовым, всеми признанным в стране стихотворцем, был знаком и не раз в спорах делил застолье с Николаем Рубцовым, вставшем на




**ВЛАДИМИР
БУТЕНКО**

**Литературо-
ведение**



Парнасе рядом с русскими классиками. Предлагали и ему, талантливому литератору, престижную работу в Москве, но сердце неодолимо потянуло на милое Ставрополье.

Александр Мосинцев родился 1-го июня 1938 года в селе Китаевском. О начале жизненного пути он всегда вспоминал с незаживающей печалью: военное лихолетье, бедность, безотцовщина. Большое влияние на впечатлительного мальчика оказал его дед, человек своенравный и мастеровитый. Затем с матерью они перебрались в Пятигорск, где прошли школьные годы Саши, за которыми последовала дорога в столицу Северной Осетии. Там, учась в горном техникуме, и начал он сочинять свои первые «стишки», зачитываться «разрешенным» тогда Есениным.

Однако основополагающее воздействие на его характер, на становление  как человека, безусловно, оказали служба в армии и работа на сибирском руднике, на котором трудился последовательно: буровым рабочим, мастером бульдозерного, а затем бурового участка. Столь успешная карьера горного техника свидетельствует не только о его разносторонних способностях и умении находить контакт с суровым рабочим людом, но и о большом трудолюбии, которое было присуще ему до последних дней. Увлечение поэзией переросло в страсть, всецело объевшую душу. Его стихи публикуются в газетах и журналах. И, пожалуй, только волей Господней можно объяснить редкую удачу: посланные на творческий конкурс в литинститут стихотворения получили высокую оценку, и опытный поэт Николай Сидоренко охотно включил Мосинцева в свой семинар.

Именно в «кузнице писателей», в институте, носящем имя пролетарского писателя, произошло его формирование как поэта. Прежде всего, им были усвоены знания отечественной и зарубежной



классики, хотя Пушкин и до этого стоял особняком. Более того, темой дипломной работы Мосинцев также выбрал творчество Александра Сергеевича, чьи строки цитировал часто и с особым трепетом. Крестьянские корни, сильный характер, кровная тяга к отчей земле властно повлекли его к двум совершенно непохожим русским поэтическим гигантам – Павлу Васильеву и Александру Твардовскому. Они, в основном, и стали его главными учителями. Два поэтических мира – с различной жизненной установкой, образными системами, идеологической подоплекой, героикой, темпераментом – Мосинцев каким-то непостижимым образом воспринял и переплавил в своей душе, обретя неповторимый голос и самобытные поэтические интонации. Надо отметить, что в приобщении к современной стилистике ему способствовала и поэзия Николая Рубцова. На мой взгляд, их роднит беззаветно преданное отношение к отечественной словесности, к России, улыбка сквозь слезы...

2

Уже в первом сборнике «Заречье» Мосинцев выступил как человек, пришедший в литературу серьезно и надолго. Само название книги говорит о привязке к земле, к определенной местности. «Я рожден в понизовом краю хуторов» – это программное стихотворение не только открывает книгу, но и становится, в сущности, камертоном для всего дальнейшего творчества. О чем сокровенном сразу же, при знакомстве намерился поведать молодой поэт читателям? О своей непростой судьбе, о детстве, о родословной. Вот только некоторые названия его стихотворений: «Прадеды», «Смутьяны», «Отцовский дом – с дороги как награда», «Воз-

вращение» («Нет, не зимой и не весной, я осенью домой приеду...»), «В селе, где рос...», «Бабкин лес». Мосинцев со светлой грустинкой замечает:

Бродит там по измятым травам
Память солнечная моя.

Но есть в этом сборнике и замечательные лирические стихи, охватывающие иной круг тем, написанные то с чувственным накалом, то полные раздумий.

Когда подступает смятенье,
В холодном мерцанье снегов
Мне снится степное селенье
У белых речных берегов.

Здесь всё на века неизменно.
Взойди на степной косогор –
Объятый мерцаньем вселенной,
Колеблется синий простор.

Следует отдельно сказать о стихотворении «Присуха», которое сам автор ценил выше прочих и, как правило, читал на встречах с читателями. А несколько позднее дал одноименное название и сборнику лирики.

Между двумя первыми книжками, вышедшими почти одновременно в Ставрополе и Москве и близкими по содержанию, и следующей – интервал в четыре года. Он стал периодом поэтического возмужания Мосинцева, временем упорных творческих поисков, хотя в жизни далеко не всё ладилось: развод с женой, переезд из Ставрополя в Пятигорск, смена работы, разлука с возлюбленной. И только на рубеже сорокалетия, обретя новую семью и бытовую устроенность, Мосинцев опрочнел духовно и полностью сложился как художник. И если в сборнике «Просторная осень» еще находим отголоски из раннего творчества, то в книгах



«Арбузный мед» и «Сентябрьское утро» он предстает уже крупным поэтом, создателем особого «мосинцевского» стиля, который состоит из сплава лирики, пейзажа, бытовых деталей, исторических ссылок, афоризмов и размышлений. Поэтический почерк Мосинцева неподражаем! Он узнается буквально с первых строк. Но, конечно, превалирует лиризм, ибо поэзия его метафорична и мудра, богата находками и яркими, эстетическими образами. Она покоряет ясностью и отсутствием фальшивой красоты. А порой поэт удивляет умением найти такую интонацию, которой разговаривают только с близким человеком или другом.

И входит осень в помыслы мои.
Когда под вечер тягостней ненастье,
Топлю я печь, и в странном забвении
Опять невнятно думаю о счастье.

...Всему свой срок. Ничтожное – ничтожно!
Но сберегли мы в существе своем
И холод звезд, и шум костров таежных,
И наше право говорить с огнем.

И чем старше становился вдумчивый, чуткий ко времени стихотворец, тем больше ощущалась в его произведениях первооснова нравственности, позволяющая «говорить» не только с огнем, но и напрямую с современниками, обращая их внимание на остроту насущных проблем, волнуя души напоминанием об отчих корнях, о быстротечности и неповторимости жизни.

«Провинциальные мотивы», сборник, изданный на излете советской власти, ознаменовал этап переосмысления в творчестве А. Мосинцева. Работа редактора многотиражки автотранспортного предприятия требовала поездок по краю, встреч с людьми, бесед для подготовки материалов. Из пер-

вых уст узнает он то, чем живет народ. И в своих произведениях сознательно акцентирует внимание на отдаленности, – даже оторванности – родного края от «центра», от столицы, где орудует Горбачев с приспешниками, ведущими страну к краху. Тревожный пульс эпохи с горечью слышится поэтом.

Провинция, сверчковая окраина,
С усердием каким и без него
Стократно ты воспета и охаяна
На перепутьях века моего.

В пыли, пропахнув хлебом и соляркою,
То на краю района, то – страны,
Ты заново охвачена запаркою
Проблем и сроков, что не учтены...

Гибель страны, в которой родился и состоялся как поэт, пережил Александр Федорович довольно тяжело. Обещанная демократия и свобода всего и для всех оказались лукавством и принесли россиянам невиданные духовные потери, обрекли тысячи людей на нищенское существование, лишив работы и смысла существования. Грянула чеченская война. Мосинцев едет туда как сотрудник еженедельника «Кавказский край». Наряду с очерками он пишет и такие строки:

За Моздоком – окопы, кое-где – зеленыя,
Запах дикой тоски и войны оголтелой.
Упаси нас, Господь, как от судного дня,
От свободы с кровавым ее беспределом.

Это стихотворение из сборника «У света на краю», отдаленного от предыдущего семилетней дистанцией. Прежде всего, книга поражает разнообразием тематики, новыми мотивами в лирике, обращением к иронии и преобладанием стихотворений гражданского направления. Несомненно, журналистская работа оставила отпечаток и на стихах, наполнив их



драматизмом. Мосинцев верно следует заветам Пушкина, написавшего в свое время: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа».


Последняя книга А. Мосинцева «Чаша цикуты» включает множество новых стихотворений и три поэмы, среди которых «Поезд юности», над которой он работал на протяжении нескольких лет. И вновь раздумья о судьбах родины, о сложном времени, в котором пришлось жить, исторические сопоставления придадут книге публицистическое звучание и полемичность, высокий духовный потенциал. Но особенно глубоки, на мой взгляд, стихи исповедального характера, в частности, «Мне снился храм», «Нет, я звонить не стану никому...», «Двадцатый век» и т. д.

Несомненно, значение творчества А. Мосинцева с годами будет неуклонно возрастать. Среди собратьев по перу он выделяется широтой и размахом дарования, культурой слога, социальной глубиной и мыслемкостью образов. Его поэзия, к сожалению, еще мало изучена академической лингвистикой, не исследована в аспекте продолжения традиций российской словесности.

3

Наше знакомство почти совпало с его приездом в Ставрополь после окончания литинститута. Помню, как впервые пришел в литературную группу при газете «Молодой ленинец», которой он руководил. Мои стихи он прочел вслух и раскритиковал, за исключением одной строфы, которая понравилась образностью. Признаться, разнос меня не слишком обидел. Наоборот, с этого вечера я проникся к Александру Федоровичу уважением и абсолютным доверием. За три года мы сблизились, стали называть друг друга по именам, несмотря на разницу в четырнадцать

лет. Благодаря Саше было опубликовано в альманахе «Ставрополье» мое первое стихотворение.

Должен засвидетельствовать, что с первых дней появления Мосинцева в писательской организации он пользовался дружеским расположением как признанных мэтров, так и начинающих литераторов. Всегда ясно мыслящий, строящий свою речь на аргументах, блистая эрудицией, Саша мог достойно отстоять свою точку зрения. Высоко ценили его стихи В. Гнеушев, И. Кашпуров, А. Екимцев, В. Ащеулов, – слово  все ставропольские корифеи. Плечистый и рослый блондин с высоким лбом, он никогда не прятал своего синего взгляда, говорил откровенно и смело, не кривя душой. Конечно, были и тайные завистники, недоброжелатели, но сталкиваться напрямую они избегали, зная крутой нрав и неуступчивость степняка. Дружил он с Виктором Колесниковым, талантливым прозаиком и редактором книжного издательства. Как всякий настоящий поэт, Саша обладал сложной натурой: порой взрывной, безоглядной, заставляющей поступать сгоряча, а иной раз был замкнут, молчалив, грустен. Правдолюбец с рабочей закалкой, он не терпел несправедливости, ханжества и подленьких поступков. В таких случаях шел напролом, отстаивая правоту. Но если понимал, что невзначай нанес человеку обиду, чистосердечно просил извинения.

Когда я после окончания мединститута уехал в сальские степи, в Целину, мы стали переписываться, дважды приезжал Саша ко мне в поселок. Это уже теперь я понимаю, что он настойчиво натаскивал меня, точно охотник молодого гончака, следил за начальными шагами в литературе. По его совету я серьезно занялся прозой. И вскоре успех принес рассказ «Осиный год», очень понравившийся Мосинцеву. Но когда я собрался поступать в литин-



ститут, он, приехав ко мне в Целину, переубедил: «Зачем? Ты по знаниям русской классики заткнешь за пояс профессора. У тебя нормальная семья, хорошая работа, дом. Для общения есть Лёнька Казьмин, талантливый поэт. Пиши! Не трать впустую ни минуты. А ты хочешь годы разбазарить на то, что уже и так знаешь». Не посоветовал он мне и поступать на Высшие литературные курсы, когда я стал членом Союза писателей. И я не раз, спустя годы, благодарил Сашу за эту провидческую мудрость.

Наши отношения трудно определить, как дружбу. Она предполагает постоянное общение, частые встречи. А мы зачастую видались раза три-четыре в год, переписывались и того реже. Но постоянно справлялись друг о друге, и когда встречались, то было такое ощущение, что виделись только вчера. Нет, это было нечто иное. И судя по надписям на его подаренных книгах, он воспринимал меня как младшего брата, хотя «братом» я его не называл. Он, конечно, интересовался моим творчеством, читал мои книги, но уклонялся от оценок. Лишь как-то позвонил (очевидно, был навеселе) и спросил с напористым задором: «А ты знаешь, что ты – большой писатель. Читаем отрывок из твоего «Алтаря» в редакции. Старик, ты пр-росто молодец!» Вот так. Похвалил один раз. За всю жизнь.

Да, Саша любил застолье, хмельные разговоры, общение. Это и вредило ему, без сомнения, и давало мятежной душе некое отдохновение, отвлекло от неурядиц и тягостных раздумий. Иногда его простодушием пользовались графоманы. Он видел, что люди эти бездарны, полны одних амбиций. И всё-таки занимался с ними, правил и переписывал вирши,ставлял уму-разуму. «А, бог с ними! Пусть пишут», – отвечал он с улыбкой на мои упреки, что чересчур отвлекается, в ущерб своему творчеству. И тут же он вдруг доставал рукопись и, меняясь в лице, обретая

особую свою сосредоточенность, начинал читать новое стихотворение, точно продолжал наш разговор. И я оказывался во власти его поэзии с первых строк...

Велением свыше, наверное, была наша неожиданная встреча в станице Вешенской на праздновании девяностолетия Шолохова, куда мы, командированные редакциями, добрались каждый своим путем. Никогда не забыть ужин и волнующий душевный разговор до зари в гостиной дома Шолоховых, в присутствии популярных актеров, членов делегации Союза писателей России, дочери Светланы и сына Михаила, детей величайшего творца двадцатого века. И для Саши, и для меня Шолохов был и остается самым любимым писателем. И мы, ничуть не захмелевшие от водки по причине того, что оказались вместе и рядом с легендарными личностями за столом, за которым прежде сидел Михаил Александрович, лишь поглядывали друг на друга блестящими от счастливого потрясения глазами и – не находили слов, – точно ожидали, что в соседней комнате раздадутся шаги гения...

И радость, и ответственность ощущать себя причастным судьбе выдающегося поэта. Он был не святым, а живым человеком, нередко – противоречивым, но отзывчивым на добро и по-крестьянски – надежным. Завершить статью я хочу отрывком из эссе, написанного спустя несколько дней после похорон Саши.

«Неполных семьдесят два, дорогой мой, насчитала тебе родная твоя китаевская кукушка! Ты всегда оставался влюбленным в жизнь степняком, плотью от плоти ставропольской земли. И под стать предкам-хлеборобам пахал свою поэтическую ниву глубоко и плодотворно, с чистым сердцем и высоко поднятой головой. Столь высоко поднятой, что узрел Свете Божий, внял неслышанным прежде мелодиям и в строках своих передал их нам – твоим современникам. И голос твой – в каждой твоей книге!»



**Антология
ставропольской
поэзии**

Я рожден в понизовом краю
хуторов,
Где сады, будто слухи, темны
и туманны,
Где у самой черты пустырей и
дворов
Перепелочный крик да густые
бурьяны.

Азиатская вязь ивняковых
плетней,
И в разводах акаций –
беленые хаты.
Боже мой, боже мой, что
я знаю о ней,
О земле, на которой
родился когда-то?

Там по-прежнему травы
весной хороши,
Студит легкий туман
заревые покосы.
И к дождю, потемнев,
шелестят камыши,
Огибая прогретые белые плесы.

Глохнет ветер степной
в проливном ковыле,
Но, смущая извечную тягу
к покою,



**АЛЕКСАНДР
МОСИНЦЕВ**

Поэзия



Не о счастье ль, доверенном этой земле,
Мне аукает лес над прозрачной водою?

Через сады поречья и станицы
Катился зной невиданной весны.
Пороховые, чуткие границы
Знобило от предчувствия войны.

Европой правил допотопный страх,
А мы весну-купальницу встречали,
Сорок считали, у воды дичали
И грелись на широких лопухах.

И мир зеленых шорохов и бликов
Касался шелка сомкнутых ресниц.
Он весь –
В цветенье маков огнеликих,
И в синих-синих брызгах медуниц.

Прекрасен полдень середины века!
Прислушиваясь к грозам вдалеке,
Не знали мы, что в чьих-то картотеках
Июньский мир уже на волоске.

И на земле, где всяк живой не вечен,
Давно готовы в помыслах чужих
Чудовищные камеры и печи
Сжигать людей. И мертвых, и живых.

Не знали мы, землей своей хранимы,
Что время, будто выстрел у виска,
Что в наших ликах отсвет Хиросимы
Останется на долгие века.

Так пело солнце, и вода плескалась,
И сад был полон влажной тишины.

Дождем и громом детство окликалось
В степном селе, за месяц до войны.

Пропавший без вести

Все так же бродят ветры гулевые,
Все так же воды стынут до весны.
А я – пропавший без вести в России –
Навек остался в округе войны.

Не для меня ли, гикнув на уклоне,
Минуя рощу, речку и село,
На счастье ржали свадебные кони
И санный след чертили набело.

Еще не была в уши неизвестность,
Не леденился солнечный висок,
Смеялась ты, веселая невеста,
Закутанная в инистый платок.

За придорожной чернью перелесиц,
В ночах, прошитых заячьим стежком,
Ты ждешь меня, когда низовый месяц
Сухмылкой провисает за окном?

Ты ждешь меня, когда минуют сроки,
Когда в ложбинах талых у реки
Траву немую выпрямляют соки
И почки набухают, как соски?

Видать, судьба нас щедро одарила.
И на Руси в любые времена
Под низким небом, горько и постыло,
Тоскою женской пахнет тишина.

Кого приветом нежила судьбина!
Ты ждешь меня, загадывая сны?

Я не вернусь. Я навзничь опрокинут
В холодном поле в первый день войны.
Но если обо мне приятна память,
Я попрошу одно, как благодать,
Меня, давно отпетого ветрами,
С улыбкою прощальной вспоминать.

Арбузный мед

Как радостно бывало в той поре,
Когда с повозки, сено отрясая,
Арбузы выгружали во дворе
Под стену глинобитного сарая.

Их нянчили, любуясь, на руках,
Выстраивали длинной вереницей.
Одним лежать в прохладных погребах,
другим – на мед в котлах перевариться.

В дымах текучих кутались сады,
И в честь удачной в том году уборки
Арбузные душистые меды
До покрова вскипали на задворках.

У каждого был собственный запах
И способ свой, когда чужой не знали.
Никто по весу мед не исчислял,
Его привычно ведрами считали.

А в зимний день, в морозный зимний день
Тот мед вносили с холода на блюдец,
И сразу лето наполняло всклень
Всю комнату. Легко и задохнуться.

Звенели пчелы, выбилась листва,
И на цветах покачивались тени.



Кудлатого июля голова
Через порог заглядывала в сени.

Но нынче редко ежду я в село.
Дела, дела... От них не устранишься.
Вот если бы в Москву – куда ни шло.
Ну где селу тягаться со столицей!

Затерянный в пространстве бытия,
Забыл я шорох сельских бездорожий,
И кажется, что бегал здесь не я,
Другой мальчишка, на меня похожий.

Я на него смотрю издалека,
Ему теперь, наверно, лет тринадцать.
Он мастерит свистки из ивняка,
Чтоб вдоволь в огороде насвистаться.

Свищи, свищи, мой мальчик! Будет час –
И ты об этом свисте заполошном
Завистливо припомнишь, и не раз,
Да в детство возвратиться невозможно.

И вспомнишь мед, арбузный сладкий мед,
Который позабыт давно на свете...
С утра хлопочет осень у ворот,
Дождь моросит, и листья треплет ветер.


Но вот гремит в проулке самосвал.
«Дядь Ваня? Точно. Неужели мимо?
Нет, нет, в селе, как видно, побывал». —
О, как сигналит он неумолимо.

– Бери гостинцы, думал: заперт дом, –
Он дверцей хлопнет заберется в кузов,
Подаст мешок капусты, а потом
Опять нагнется. «Может быть, арбузы?»

И вдруг такую тыкву достает
И валит на борт, и глаза смеются:
– Бери, бери, а то не равен год,
Добро еще, что тыквы достаются.

Ну, я поехал. В гости заходи... –
И я тащу подарки за ворота,
А смех не унимается в груди,
Смотри, какую тыкву заработал!

Есть скрытый смысл в житейских мелочах,
И, сколько б ни представился он вздорным,
Не отмахнись от смысла вгорячах,
Взойдут его напористые зерна.

Они напомнят что в такой-то год
Ты был унижен  преодолимо
И будто бы посылался к любимой,
А получил от дома поворот.

Один сижу на кухне. На столе
Передо мной подарок сельский – тыква,
Как символ вечной верности земле,
А от земли душа уже отвыкла.

Я медленно утрачиваю связь
С обычаями родичей далеких.
Жизнь новая в душе не привилась,
И не питают прежние истоки.

Сижу, курю, пускаю в фортку дым
И мед арбузный вспоминаю все.
Но ведь меня не мед интересует,
А все, когда-то связанное с ним.

На родине

На ветреной, на дедовской земле,
Где хлеб и жизнь замешивались круто,
Мы выросли в довольстве и тепле
С пристрастьем древним к сельскому уюту.

Там не было особенных красот.
И со двора по выжженному склону
Спускался к светлой речке огород
Прислушиваться к шорохам зеленым.

А перед хатой – степь во все концы.
И вдалеке при солнечной погоде
Виднелись леса темные зубцы,
Скупая память лиственных угодий.

Как далеко те годы унеслись!
И вот сегодня я стою поодаль,
Смотрю туда, где отшумела жизнь
И моего бушующего рода.

Душе неведом собственный предел,
Она знавала и другие беды.
Но сразу мир села осиротел,
Едва наутро потерял я деда.

Какую память мне воздать, ответь?
Легла меж ними пыльная граница,
И я, живая, трепетная ветвь,
Пришел родным и деду поклониться.

Как спитесь здесь им. Родичи мои?
Все та же кровь в моих вскипает жилах,
Готовая и к злости, и к любви, –
Наш род природа щедро одарила.

Что я оставлю на земле родной?
Не потревожу ль ваш покой неловко,
Не порасту ли сорною травой
Потом, в воспоминаниях потомков?

Ядреный август вышел в тишине,
И солнце в полдень целит прямо в темя.
Уже свалилось на плечи и мне
Немереной ответственности бремя.

Спой, дальний защищая интерес,
Не придерживусь ли двойственных оценок?
Здесь дедов двор загнали за бесценнок,
Там – по весне сгноили Бабкин лес.

Как горько от негладанных потерь!
Одна – к другой, и жалости не хватит.
Ну что же ты. Куда же ты теперь,
Не заскулишь у века на подхвате?

Рождением обязанный селу,
О нем болел, когда оно болело?
Наведывался в гости по теплу
Да о родных справлялся между делом?

Всегда живущий с совестью в ладу,
Сумей сберечь гнездовье от разора.
Ты – самая надежная опора
И дерево последнее в роду!

Романс

Все в этой осени – будни и проза,
Но неожидан подарок земли:
Белая роза и красная роза
Утром в саду у меня расцвели.



Я не особенно верю преданьям,
Что ж не уймется волнение в крови?
Белая роза, в приметах, – к свиданью,
Красная роза как будто к любви.

Нет у меня ни любви, ни свиданий –
Все растерял по ветру на пути.
Осень простерла холодные длани,
Память крутую мою замети!

Я не пролью торопливые слезы,
Боль свою спрятать смогу на миру.
Только зачем запоздалые розы
Так воспаленно горят на ветру?

В мастерской

В кострищах шумных, в лиственных
пожарищах
Вставала осень в скверах городских.
Я жил в ту пору в мастерской товарища
Среди холстов, подрамников и книг.

Неплохо жил. Мне дом дощатый
нравился
С летящей наверх лесенкой крутой.
По вечерам огонь закатный плавился
На крыше, сплошь осыпанной листвою.

Как обостренны чувства в одиночестве!
В ночах таких ни отдыха, ни сна.
Все явственней – обиды или почести,
И жизнь до глубины обнажена.
Я молча слушал пенье печки газовой
И думал о друзьях и о себе,

О времени, с которым все мы связаны
Раздумьями о мире и судьбе.

Так в чем оно, художника призвание?
В желанье суть явлений обнажить?
А есть ли грань меж ложным пониманием
И правдой, без которой не прожить?

О, как ты глубину постичь стараешься?
Увидеть свет пытаешься во мгле.
О чем ты, бестолковый, убиваешься,
Чего ты ищешь, глупый, на земле?

На острие реальности и небыли,
На рубеже безделья и труда.
А может, этой истины и не было,
Да и не будет в мире никогда.

Но крепнет и становится основой
Под ветром, обивающим листву,
Твоя непримиримая, бедовая,
Мучительная тяга к мастерству.

Провинция

Теплы они, несуетные сумерки
В сухом оцепененье сентября,
Сверчки перекликаются – не умерли,
Живут себе, судьбу благодаря.

Пиликают, не более не менее,
В глубинах палисадов и аллей,
Осыпано их умиротворение
Окалиной горящих тополей.



Провинция, сверчковая окраина,
С усердием каким и без него
Стократно ты воспета и охаяна
На перепутьях века моего.

Ядреная, хваленая, клейменная,
Видавшая беду и торжества,
Медами и отравою поеная,
Радетелями наспех погребенная,
Провинция, ты все-таки жива!

Не сбитая пустыми разговорами,
Державными заботами полна,
Кормилицей, надеждой и опорой
Осталась, как в былые времена.

В пыли, пропахнув хлебом
и соляркою,
То на краю района, то – страны,
Ты заново охвачена запаркою
Проблем и сроков, что не учтены.

Отстраиваешь мир, как полагается,
Перемолов посуды и тычки,
Пока земля согретая вращается
И в сумерках пиликают сверчки.

Двадцатый век

Еще снежок лежалый по низам
Весна-красна не выскребла в сусеках.
Неловок март, и, кажется, ты сам
Как будто приморожен прошлым
веком.

Он – в генах, в ощущениях, в крови,
В повадках нажитых и заблужденях.

Не зря его шальные соловьи
Раскачивают память в сновиденьях.

Двадцатый век не спутаешь ни с чем.
Он разным был – свирепым

и кровавым,
Он жрал своих детей, как Полифем,
Чтоб позже возвышать их величаво.

Он разным был и всё-таки своим,
Как сад отцовский с речкою и садом,
Где над водой курится пар, как дым,
И пахнет камышевою прохладой.

На шатких перекрестках бытия,
Далекий от восторженного вздора
Я признаюсь: он потому и дорог,
Что там осталась молодость моя.

С утра скатись с дощатого крыльца,
Готовый удивляться переменам.
В саду горчит цветочная пыльца,
Жизнь пахнет мёдом, женщиной
и сеном.

Теперь я не жалею ни о чём,
Не жду благословения с амвона.
Постель моя пропахла табаком,
Почти как тамбур спального вагона.

И всё ж поверь, весну нам не унять.
Пусть новый век заходится в чечётке,
А я опять о прошлом, чтоб понять
Ошибки, преступленья и находки.



Гости фестиваля «Белая акация»

Сестры

*Картины провинциальной
жизни*

Мой достопочтенный читатель, в этой короткой повести речь пойдет о русских женщинах. Немало уже написано об этих загадочно-обаятельных, стойких и нежных созданиях, и, право, дай Бог, чтобы и впредь о них слагалось литературных сочинений более и более, ибо страшно и помыслить, что на земле Русской могут переродиться эти милые дюжие люди прекрасного пола... Ко всему прибавим, что русская женщина проявляет себя рано – в детстве, в отрочестве, – проявляет не по наличию в биографии двух-трех поразительных поступков, но по самой сути миропонимания и восприятию жизни, которое уже и в раннем возрасте вполне характерно проступает.

В тексте встречаются диалектные слова (преимущественно – Русского Севера), которым не дается толкования, так как их смысл легко угадывается из контекста. (Прим. автора.)



**ЕВГЕНИЙ
ШИШКИН**

Проза



Жаворонок. Картина первая

– Как же ты этак-то, Колюшка! – шептала Люба, заглушаемая братовым плачем с подвывом и громкими всхлипами.

Она стояла на коленях и, прерывисто дыша, бережно загибала штанину парусиновых братовых портков, чтобы осмотреть его поврежденную ногу.

– Да не ори ты, Николка! – прикрикнула на брата другая сестра – Шура, которая, подойдя к месту происшествия, тоже пригнулась к ушибленному и поцарапанному колену несчастливца. – Чё башку-то задирает? По лесу ведь ходишь. Так не токо ногу изувечить, но и шею свирюхнуть можно.

Николка полулежал на траве, опершись на локти, и уже не ревел, а хныкал и швыркал носом и не столько глядел на пораненное колено, которое у него саднело и ныло и на котором пугающе проступила в бороздках царапин алая кровь, сколько на сестер – то на сестру Любу, то на сестру Шуру, – будто им право порешить, будут далее отпущены ему боль и слезы или сестры враз каким-то волшебным лекарством прекратят его муки.

Люба – старшая среди них – уже девица на выданье, круглолицая, с большими серыми глазами, крупным мягким ртом и толстыми светло-русскими косами, смотрела сейчас на малолетнего страдальца чрезвычайно жалостливо, и скажи бы какой-то чудодей: прими на себя братову боль, – она приняла бы ее сию секунду, и с радостью. Недаром она ласково гладила Николку и по рукам, и по ногам и тихонечко пришвыркивала ему в такт носом, сопереживая. Шура, однако (тоже почти девица на выданье: они с Любой погодки), – кареглазая, темно-русая, телом



крепче сбитая, чем сестра, смотрела на Николку твердо, казалось, даже не милосердно, а холодно и расчетливо.

– Надо тряпку с мочой приложить. Лучшее средство! Мама всегда говорит: чуть чё – тряпку с мочой, и как рукой сымет, – деловито заявила Шура и пронзительно взглянула в кислое лицо братца: – Сикать хошь?

Николка стыдливо покраснел и, кривясь, предвкушая уже испробованное лекарственное средство, протянул:

– Не-е...

Шура резко повернула голову к сестре:

– Тогда ты, Люб, давай. Я б и сама, да опросталась недавно. – Шура решительно сдернула с себя головной платок, благо не очень светлый и не очень пачковитый. – Ничё, простирается после. Моча-то не дёготь.

Люба взяла сестрин платок и пошла за ближнюю ветвистую елку.

Вся троица – сестры и малый братец – находились на старой вырубке в лесу, куда отправились по ягоды, по землянику, но в разгар похода Николка по ротозейству брякнулся коленом об пень.

– Говорено тебе, Николка, рот-от не разевай. Ягоды-то под ногами растут, под ноги и гляди... Ничё вон у тебя в посудинке-то нету, а ягод-то полно. Ты, Николка, давай не ленись, – отчитывала и наставляла Шура, хмурия черные, строгие, зигзагообразные брови, и по ходу поучения снимала с себя поясок, которым намеревалась крепить к больной ноге брата целительную повязку.

Люба той минутой ловчилась бережно распорядиться собственной влагой, и хотя при этом ей было как-то стеснительно, однако момент требовал разумности и рачительности.

Слезы наворачивались на глаза Николки, руки сами, непроизвольно, тянулись к колену и хотели освободиться от солоно пожигающей теплой повязки, увещевания сестер оказывались малодейственны.

– Не хнычь! Чё как девка! Ты ведь мужик, Николка! – бодрила непреклонная Шура. – Да руками-то не барабзай повязку!

– Потерпи, Колюшка. Спервоначалу пожжет, а потом – облегченнице, – чуть ли не со слезами на глазах утешала Люба. – Чего, Шур? Какие уж теперь ягоды? Давайте ближе к дому.

– Жалко. Можно бы еще по логу пройтись. Там на склонах земляничнику тоже густо, – сказала Шура и тут же скомандовала: – Вставай, Николка! Будем тебя поддерживать, доковыляешь как-нибудь. Две версты до дому – не десять...

– Он, поди, нашагается – ногу-то еще пуще разнесет, – сердобольно вздохнула Люба. – Не тяжел он – малец. Поди, на закрошках попеременкам донесем. Пару-то километров... Помнишь, батюшка покойный рассказывал, как в германскую раненого товарища выносил – тот, говорит, тяжёлуций был...

– Помню, – отозвалась Шура. – Ладно, Николка, забирайся на крыльца. Мужичок ты наш с ноготок.

Дорога выбралась из-под лесных кущей, неспешно потекла с пологого холма мимо извиива реки, покрытой серебром солнечных бликов, к поселку Кожун. Почему Кожун? Наверное, потому что издревле выделялись в здешних местах кожи, из которых впоследствии мастерилась разного рода обувка. Теперь же, при Советах, здесь размахнулось цеховое производство – обувная фабрика «Облкожпролетпрома», где шили не больно фасонистые массовые модели и солдатские чеботы. Вокруг фабрики, которую издали определишь по трубе котельной, гуще



стало жилья – домов-бараков, в одном из которых и жили наши герои. Обитали они тут с матерью, рабочей кожфабрики. Батюшка у них еще в молодости отвоевал германскую и вернулся с нее инвалидом – с осколком в груди; он не так давно умер от «шевеле-нья» этого осколка, напоследок оставив поскребыша – сына Коленьку, который его и не помнил. Барак у них был многосемейный, состоял из двух половин, в каждой – по четыре комнаты, в каждой комнате – по ячейке общества.

Отсюда, с дороги, по которой сейчас двигались взопревшие на солнцепеке сестры, имея попеременно на спине живую ношу, и фабрику, и рабочие бараки с маленькими огородами и сараюшками вокруг было хорошо видеть. Люба уже тоже работала на фабрике, упаковщицей, туда был назначен путь и Шура, хотя Шура мечтала поехать на будущий год на учебу в областной центр. Но этого не случится: описываемый эпизод произошел с пятилетним Николкой и сестрами накануне войны – летом сорокового года, незадолго до фашистов...

А покуда небо над Кожуном простиралось мирное, чистое, голубое, с редкими облаками, которые жарило и рассеивало солнце. В этом небе, не замечая зноя, в забвенье самопоуенности изливался жаворонок. Жаворонок... Птаха-то невеличка, но даже в самом слове – что-то неизбывно песенное, поднебесное, бесконечное. Поет жаворонок над зеленым полем, над желтой дорогой, рассыпается долгим переливом – звуки, как серебряные ракушки на речной глади... На спине – то у мягкосердечной сестры Любы, то у строгой, но все равно доброй сестры Шуры – слегка покачивается в дреме белобрысый Николка. Боль в колене у него притупилась, осталось только неприятное ощущение ожога от ушиба. Да еще немало печально ему: сегодня, пожалуй, с друзьями в

лапту не поиграть. Но главное, к радости, – ягодная морока, на которую запрягли его вместе с собой сестры, кончилась. Николка не то что ягоды собирать в посудинку, но и поест их с куста не очень рвался: мухи, пауты, комарье, – ну их к лешакам! Лучше гороху пощипать в огороде.

...Жаворонок поет над дорогой.

Ночной свет. Картина вторая

Вдумчивый мой читатель, не поддаются описанию те страдания, что пережили русские люди во время войны. Вот и наши герои хлебнули лиха. В голодную лютую годину они окончательно осиротели: отдала Богу душу их матушка. А по старшей сестре Любе лихолетье будто прокатилось дважды. Перед самой войной Люба вышла замуж за фабричного кузнеца, и казалось, еще каблуки не остыли от топотухи, что выдавали гости на их свадьбе, да тут хлесь тебе – непрошенный гость, немец с фашистским рылом. Кузнец, как и подобало кожунским мужикам, в первые же месяцы угодил во фронтовые окопы, а уже по зиме из промерзлого, завьюженного Наро-Фоминска на него пришла похоронка с горькой пороховой горчиной. Сестре Шуре бабья доля выпала иная, счастливая. Но об этом немного погода.

...В поселок Кожун, мой дорогой читатель, заглянем уже послевоенный, даже далеко послевоенный. С того ягодного июля, когда в знойном мареве певуче трекотал жаворонок, отмотало аж два десятка лет, чуть поменее.

Ныне сестры и братец жили все врозь. Люба, так более ни с кем и не сойдясь (да и мужиков после войны в поселке резко убыло), жила в одиночестве в небольшом рубленном доме, доставшемся от



мужа-кузнеца в невеселое вдовье наследство. Шура обустроила семейный очаг в трехэтажном доме для местной интеллигенции, с паровым отоплением и теплой уборной. Николай же холостёжил в комнате того же отчего барака. Он отслужил в армии, получил водительские права и шоферил на ГАЗике из фабричного гаража. Молод, разудал, лихачист, он, казалось, во всем был сам себе кум – кумом, барин – барином. Правда, сестры вели за ним неусыпный, заботливый надзор.

– Ты, Коля, нам как сын, – говаривали ему сестры. – Вот жоним тебя, тогда и будет тебе другой пригляд. А теперь мы тебе подмога. Какая жизнь одинокому мужику – всухомятку...

Николай, бывало, за столь усердный контроль на сестер порывивал:

– Надоели вы хуже горькой редьки! Ну ладно – Люба, она одна, – рассуждал он, тыча пальцем то в Любу, то в Шуру, – она и постирать, и покормить... Но ты-то, Шур! Угомонись! Чё ты ко мне вяжешься: где да чё? У тя свое семейство – там и урядничай.

– Мое семейство в воспитательстве не нуждается, – сердито отвечала Шура, глядя острыми темными глазами в голубые глаза брата. – За шалопаев-то, как ты, душа больше болит...

Тут, конечно, Николай возбухал, затевал с Шурой ругачку, иногда приправляя речь перченым матюжком. Но, любезный мой читатель, этот скандалёз слушать не стоит, переждем, и в двух словах поведаем о семье Шуры.

Сразу после войны Шура вышла замуж за поселкового учителя – школьного математика – и родила от него двух дочерей. Математик в роли мужа и в роли мужика оказался на диво хорош: тих, покладист, не пьющ; по вечерам надевал очки и допоздна сидел за тетрадками, и пожалуй, числился за ним

один чуточный минус – много курил «Беломору». Дочки Шуры (тут надо постучать по деревяшке, чтобы не изурочить...) росли скромные, мозговитые, любящие читать разные книжки. Может быть, оттого воспитательная энергетика Шуры расходовалась преимущественно на опеку брата, в котором он, по честности сказать, нуждался. Несмотря на то, что прошел армейскую службу, которая любого парня взрослит и обумляет, Николай вляпывался в разные казусы: то на вечерке в драке ему оторвут рукав у пиджака, то окурочок мимо помойного ведра бросит и чуть не спалит свою комнату и весь барак, то, словно непутевый ребенок, переест дикой полевой редьки и чуть не изойдет до смерти от длительного поноса.

...Однако, кажется, перебранка меж братом и сестрой иссякла, и старшая, миротворица Люба, привычно скруглила острые углы:

– Хватит вам друг с дружкой звязить. Все мы с вами родные, кровные, дружнее надо. Ты, Колюшка, Шуру слушайся, она худого не прискажет. А ты, Шура, больно донимучей не будь... Вечером, Коль, после смены приезжай ужинать. Буду ждать.

Вот и нынче вечером – октябрьским, холодным, ненастным вечером – Люба ждала Николая. После работы обещался зайти. В протопленной русской печке у Любы приготовлены два чугунка: один – со щами (щи в этот раз (по секрету сказать: и в другие разы) удались – наваристы, с мясистым говяжьим мослом), другой – с пшенной кашей, которая братом предпочитаема, а под кашу, да и насверхосытку, припасена кринка молока.

Люба сидела у окошка и время от времени вглядывалась в дождливую сутемь. Там призрачно поло-скались безлистые рябиновые ветки, взмахивали на ветру и норовили достать окошка, постучать, пожа-



литься на судьбу... Несколько дождевых капель сорвалось с веток и с порывом ветра глухо шибанулись о стекло. В голову к Любе обрывочно, как остатные осенние листья и разрозненные капли дождя, лезли невеселые мысли: «Коля-то, поди, где застрял на машине. Грязюка... Эх, мне уж почти к сорока чалит, а замуж-то я второй раз так и не вышла. Да ведь и не за кого. Одногодки-то мои все в погибших... На въезде в поселок в низине этакая лужища была. Там и трактор увязнет, не токо грузовик...» С такими грустными лоскутными мыслями, привалившуюся к стене, возле окошка, и подхватил Любу нечаянный сон.

Да что же ей снилось-то? В том-то и дело: ни радостно ни дурно, а смятенно и странно. Такое просто не привидится. Будто идет Люба по горной каменной дороге, которых она в действительности не видывала, а навстречу ей брат Николай идет, обеими руками свои брюки поддерживает. «Не знаешь ли, – говорит, – где мой ремень от брюк? Сейчас гроза начнется, а с меня брюки спадывают...» Тут, в самый этот момент, – гром среди ясного неба.

...В окошко кто-то громко и резко постучал. Этот стук не только согнал дрему, но взбудоражил явь. Стук не в дверь, в окошко, человека явно стороннего: ни Шура, ни Николай такой привычки в стекло грохотать не имели, да и двери в Кожуне в те годы на замки и засовы не замыкались. Стук в стекло сам по себе пугающ, дребезжаще-остёр, уколист, и сейчас он пробрал сонную Любу насквозь... Тело ее встрепетало. Душа сперва съезжилась, а потом, будто пойманная в силоч птица, заметалась во все концы.

Приникнув к стеклу, Люба испуганно разыскивала в сырой бездне вечера зловещего стукуна. В потемках мелькнул красный околыш милицейской фуражки. Стало быть, местный участковый – Иван. И вправду, это только он в поселке имеет дурь в стекла

хозать. «Какой леший его несет? Ни дождя, ни слякоти экий мерек не боится. Чего-то не так...» – тревожно просквозили мысли Любы.

Немного спустя Иван-участковый в сырой брезентовой накидке и грязных сапожищах ввалился в избу. Сухо поздоровавшись, он сел на лавку и положил на колени милицейскую полевую сумку, – вроде как с намерением достать оттуда лист и писать. В глаза Любы он все же смотрел скользко, увертливо:

– Никола не появлялся? Когда ты его последний раз видела? – Иван говорил резко, но при этом угрюмился и обтирал пятерней большие черные влажные усы. – Человека он сбил. Степан на велосипеде ехал, а Никола его бортом машины. Понятно, дорога склизкая и дождь. И Степан-то из гостей от свояка ехал, видать, пьяный, мотало его. Но Никола-то гад! С места происшествия скрылся!

От негодования Иван притопнул сапогом, на рукодельный круглый половик упали ошметки грязи. Люба стояла ни жива ни мертва. Ее светлые серые глаза казались остекленевшими, все лицо залито бледностью ужаса, приоткрытые полные губы неподвижны.

– Уехал... По газам дал и уехал. Люди видели. Бойтся, наверно. Я его у тебя буду ждать. – Иван снял фуражку, скинул с плеч накидку, поправил старшинский погон. – Чую, что он к тебе к первой зайвится.

Люба опять ни звука ни ползвуха, только грудь стала учащенно вздыматься да руки машинально ухватились за оборку фартука и стали трепать, трепать, трепать ее, не в силах найти себе другого места и утешения.

В сенцах бухнула входная дверь на пружине – и шаги. Тревожные, скорые. Люба враз определила – чьи. Иван даже с лавки поднялся, когда Шура, вся за-



остренная: и нос, и губы, и въедливые темные глаза впились в лицо участкового, – порывисто потребовала:

– Говори, Иван! Все толком говори.

Известие об аварии на дороге уже облетело поселок.

Иван понуро склонил голову от прожигающего взгляда Шуры, хотел было подергать свой ус, уже и руку по привычке поднял, но этой же рукой обреченно махнул:

– Говори не говори, но против факту не попрешь. Хоть и дождь, хоть и дорога дрянь – грунтовка размытая, хоть и пьяный Степан ехал, а факт таковой: Степан сейчас на операционном столе в больнице, а Никола... А Никола раздолбай! Посадят его!

Шура, та самая Шура, которая всегда отличалась здравомыслием, самообладанием и кременистой стойкостью перед житейской непогодицей, выслушав ругательски-красноречивую речь участкового, вся спала с лица и сделалась белее снега. «Эк ведь, как ее обушмарило», – успела подумать Люба, глядя на сестру. И почти в тот же момент Шура, негромко ойкнув, в беспамятстве рухнула на пол, на загрязненный половик.

– Обморок! – вскричал Иван. – Нашатырю давай!

– Господи, помилуй! – кинулась к буфету Люба.


Когда Шуру привели в чувство, она еще долго сидела на полу, привалясь спиной к печке, и ничего не могла вымолвить, только многослезно и тихо плакала и как-то по-щенячьи, очень жалобно скулила. Люба прежде такого не видала, не слышала, ибо прежде такого с сестрой не случалось; даже хороня мать, Шура сберегла мужественность и, роня скорбные слезы, была в рассудке. Но сейчас расклеилась капитально. Видать, ей всегда верилось, что она может заслонить брата от любых посяга-

тельств, но... Но против суда и тюрьмы – она слаба. Чтоб Шура вернуть уравнишенье и относительное спокойствие, потребовалось еще влить в нее четверть стакана воды с валерьяновыми каплями.

Иван-участковый безвинно чувствовал себя виноватым и свои объяснения уже не выдвигал тоном прокурорских обвинений:

– Понятно, что Степан сам нарушитель. Велосипед у него – дерьмо. Колеса с восьмерками, шины лысые. Но Никола сбил и уехал. Свидетели есть... Может, Никола и сам вмазанный был. Экспертизы забоялся, вот и свинтил. Скрылся с места преступления – тут уже другая статья.

– Никакой он не вмазанный! Ты, Ваня, на Колю напраслины не наговаривай, – заступчиво сказала Люба.

спертизадолжна показать, – настаивал Иван. – Врачи разберутся. Найти бы его сперва.

В этот момент Шура как-то вся собралась, отрезвела, сосредоточилась и привычным твердым голосом заявила:

– Найдем. Счас мы его найдем.

Иван только хлопал глазами и свой ус уже не трепал рукой, а покусывал. Сестры, не произнеся друг дружке ни слова, начали быстро и слаженно куда-то собираться, будто верняком знали, где затаился ГАЗик и Николай, влипший в аварию.

– Тутова пока посиди, – оболакаясь в стеженую кацавейку и заталкивая ноги в резиновые боты, говорила Люба милиционеру. – Чайник на плите. Налей – попьешь. А если ись хошь, тогда в печь залезь, в чугунках там...

– Мы тебе его приведем, – глядя на Ивана уже сухими строгими глазами, говорила Шура. – С повинной приведем. Так и запишешь в протокол: никуда с места не уезжал, сам пришел, и ничё другого не выдумывай...



Иван собирался кой в чем возразить, но не успел: за сестрами затворились двери. «Эти приведут», – подумал он, проходя в кухню и отыскивая глазами чайник. Норов сестер им был изведен: жили на одной улице. Чего задумают – от того не отступятся. Люба возьмет не столько рассудком, сколько трудолюбием и выносливостью, а Шура – резонансом и твердостью духа; неспроста в ОТК фабрики, где она работала контролером, сам начальник страдал от ее принципиальности.

Иван-участковый не допил второй стакан чаю и еще не до конца наудивлялся на Николиных сестер, как по сенцам опять шаги. На этот раз – многотопно, табунисто; стало быть, ведут... Дверь отворилась, и первым в избу ступил мокрый, встрепанный, косматый Николай. На бледном лице тряслись синие губы, в голубых глазах – темная жуть, ровно ему назначена казнь.

– Сам он пришел! Сам! Эдак и напиши в своих бумагах! – решительно заявила Ивану-участковому Шура, которая держала Николая за руку, за локоть, как нахулиганившего мальчишку, который может дать деру.

– И никакой он не пьяный! Выдумлячество все это! – в тон, подражая в строгости Шуре, заговорила Люба.

– Я... Я... уж в гараж... Ехал в гараж, – с пугливым дребезгом в голосе залепетал, заикаясь, Николай. – Я уж смену-то отработал... Всего две кружки пива... в чапке у бани... И в гараж... в гараж...

– Дурак! – взорвался Иван, черные усы у него затряслись от негодования. – Зачем с места-то уехал? Теперь еще одну статью...

– Какую статью? Ты чё это мелешь-то? – тут же вступилась хваткая быстроумная Шура. – За врачом,

за милицией он ездил. Хотел-то как лучше, испугался токо. Но явился сам! Так и напиши в своих бумагах. – Она указала пальцем на милицейскую сумку. – И не пил он!

– Да, конечно, не пил, – подхватила Люба, усаживая Николая на лавку, а сама выступая вперед. – Две-то кружки пива – это что слону дробина. Пейсят грамм водки не выйдет.

Николай поднял дрожащую руку, двумя пальцами подтвердил, что выпито было только две кружки пива, сбивчиво пробубнил:

– Кроме пива, ничё... Ничё... Мужики в чапке видели. Подтвердят...

Иван еще круче взбеленился и, передразнивая сестер и Николая, состроил издевательскую рожу, затряс усами, закричал:

– Какие врачи? Какая милиция? Какие кружки пива? Очумели? – Он вскочил с табуретки, хотел, видать, пройтись, остудить кипяток гнева в шаге, но кухонька была тесна; он потоптался на месте и, слегка уgomонив себя, сурово произнес: – Против фактов не поперешь!

– Ты чё, как попугай, заладил-то: фактов, фактов? – вспльчиво осекла его Люба. – Человек-от тебе меньше факту, што ли? Глянь-ка ты на него, на сердешного.

Николай сидел на лавке, давил руками на свои колени, которые у него прыгали от дрожи; в светлых глазах тоже дрожал, колебался черной мембраной страх. На Ивана, с которым вместе рос и с которым не однажды дрался и иногда чистил моську, хотя был помладше, Николай смотрел как на царя.

– Я, Вань, в милицию-то хотел... Правда... Степана-то мотануло... Все уж, думаю, отработался... Еду, а он... Бортом немного зацепило...



Иван тяжело вздохнул, произнес тихо:

– Степану-то, наверно, ногу отпилят, раздроблена вся... Собирайся, Никола. Пойдем. По закону, я тебя арестовать должен. – Иван не столько смотрел на горемычного жалкого Николая, сколько угрюмо косился на Любу и Шуру.

Сестры, услышав об аресте, сперва обомлели, потом переглянулись и встали плечо к плечу, заслонив от Ивана-участкового брата Николая. Две дородные крепкие бабы против одного среднего покроя мужика.

– Чё тебе арестовывать-то? Неймется? – сорвалась на Ивана с горячностью Люба. – В лапту ведь с Николкой-то играли вместе. – И глаза ее быстро наполнились слезами.

– Ты вот чего, Ваня, – по-деловому, мирным, но неуступчивым тоном заговорила Шура. – Ступай куда в свой участок или домой. Время счас позднее. До утра ничё не делается. А поутру он придет. Мы его к тебе сами проводим.

– Да вы что, совсем охренели? – взвился Иван и рыпнулся было к преступному шоферу. Да не тут-то было. Сестры стояли непоколебимо, стеной.

– Кабы ты у нас не охренел! – угрожливо сказала Шура. – Чё, забыл, как мы тебе в штаны крапиву-то совали?

Такой факт из недалекого прошлого и в самом деле имел место: однажды за тумачи Николке пришлось пострадать Ваниной заднице. Иван-участковый покраснел как рак, усы окострыжились, ноздри раздулись.

– Не супротивничай, Ваня. Поди на свою службу али домой поди, – поддержала Люба.

– А будешь артачиться, – еще злее припугнула Шура, – так мы тебя свяжем и в чулан. Тоже до утра.

– Брат он нам, Ваня. Единственный, – смягчала обстановку ласковым голосом Люба, утирая слезу на

щеке. – Да и ты нам не чужак. Мы тебя еще голожопым помним. Приведем с утра...

Иван полыхнул взъяренными глазами, хватя свою фуражку, накидку, сумку и, громко топая сапогами, прочь из избы. Сестры и Николай безрадостно услышали, как схлопала на пружине дверь на улицу.

В скором времени изба Любы опустела. Сестры с боков, а Николай посередке – шли они по слякотной дороге, по дождю, по потемкам, в родной барак. Хошь не хошь, но и в тюрьму надо собираться, если туда прирешила судьба.

Люба в одной руке несла корзину, в которую поместила два чугунка со щами и кашей, укутанными старой лопотиной. Хотя, конечно, какой уж у кого сегодня аппетит! Другой рукой она держала руку Николая, чувствовала его ознобную и нервную дрожь и в уме прикидывала, чего необходимого положить брату в горестный путный узелок: из съестного – сала, сухарей, кускового сахару; из одежды – трусы, носки вязанные, кальсоны теплые.

Шуру занимали иные мысли, тоже про брата, но с другим уклоном. Она искала для него в случившемся оправдательные моменты, которые можно предъявить следствию, раздумывала о том, как и чем подкупать защитника на суде, как сочинять бумаги с просьбой взять брата на поруки. Николай шел низко понуря голову.


По дороге они не разговаривали и, лишь когда оказались в родной комнате родного барака, где начинали жизнь сызмальства и где родственная слитность ощущалась острее, потихоньку-помаленьку разговорились. Они сидели за старым, но очень крепким, тяжелым круглым столом под лампой в оранжевом абажуре с кистями. Младший брат – уже подследственный – и две старшие сестры, две верных ему женщины. Они в сотый раз обговаривали об-



говоренное, детально приступали к тому, что уже и так было допредельно детализировано, и плакали – и поодиночке, и все втроем.

За окном по-прежнему – морось с ветром. Темень. Намокшие дома черны. Стоило погасить в окнах свет, и дома напрочь сливались с потемками, как будто растворялись в них. За полночь весь поселок погрузился в беспросветную мокрядь; уличного фонаря в Кожуне почти не встретишь. Только одно окно не сомкнули потемки. Всю ночь оно бессонно тлело желтым, печальным, разлучительным светом.

Жених и невеста. Картина третья

 После дорожного происшествия потерпевшему Степану – отняли ногу, а Николаю присудили три года заключения.

Однако всякой беде наступает предел. Всякая кручина конечна. Нынче у Николая намечается свадьба. Женится. Стало быть, приветливый мой читатель, встречаемся с нашими героями через невольничье время Николаевой отсидки и плюс еще год свободы вдобавок. Впрочем, сегодня у Николая и вовсе не свадьба, что-то вроде сговора, помолвки, сватовства. Точнее, сестры Люба и Шура зваными гостьями идут к брату для официального, небудничного знакомства с его невестой Верой. Николай, хоть и оперился вполне, пройдя школу армии и тюрьмы, но жениться без участия сестер, затевать свадьбу с угощением и гулянкой вряд ли бы сумел. К тому же у Веры родителя схоронили на фронте, а мать, надорванная в тылу лесоповалом, теперь инвалидствовала по первой группе и никуда из дому не выбиралась.

...– Да разве вы отвяжетесь. Надавало вас на мою шею, – притворно сетовал Николай, зазывая сестер на сегодняшнее действие, но в затайке полагался на сестер при свадебной суетне пуще, чем на себя. – Ну глядите, если мою Верку чем обидите или обскорбите – всё, с вами у меня кранты...

– Ты давай много-то не вылупляйся! Мы твою Верку покуда ничем не обожгли, – сдвигая строгие брови над темными строгими глазами возражала Шура.

– Разве ж мы зверюги какие, Коленька, – умасливала добрым голосом Люба. – Мы ж и мизерный попрек попусту никому не скажем. А уж твою-то нареченную жалеть будем. И ты ее жалеи!

Право, мой благосклонный читатель, великое чувство кроется под понятием «жалеть»! Даже любовь – это всего лишь составляющая «жалеть». Жалеть – это так многопланово, так трогательно, так обостренно, родственно. Здесь свет любви, здесь доброта, и заботливость, и жалость (похвальное чувство, отнюдь не проявление какой-то слабости; в ком нет жалости, в том не будет и любви...), здесь и самопожертвование. Одним словом, это великое русское чувство – жалеть.

Но вернемся с российских орбит в тихий провинциальный Кожун, который лепится к обувной фабрике, которая уже много лет и символ, и флагман, и кормилица. Так вот за сестрами Любой и Шурой постепенно, с годами – а годы-то, как водится, в одну сторону тянут, к старости, – закрепилось, как и за другими женщинами их лет, этакая незамысловатая приставка «тетка» – тетка Люба, тетка Шура. Это и очевидно – все ж годы, а по имени-отчеству в Кожуне величали только начальство и учителей.

– Вон, гли-к  тка Люба да тетка Шура к своему Николе пошли.



– Ага-а. К нему Верка час назад нарядающая убежала.

– Знать, дело к свадьбе.

– Да как ведь пора уж Николе-то и жениться, и детёв заводить.

– Самое время за ум браться. В армии послужил и в тюрьме посидел.

– Как сестры порешат, так и будет. Поглянется им Верка, сладятся, тогда и Николе свадьба. А ежели нет, то...

– Да ну, Коля уж и сам заматерел. И работает, и выпивает как настоящий мужик. Сам себе голова, не маленький.

– Все ж нет, сестры над ним правленье держат.

В момент этих досужих выкладок местных жителей в доме у Николая, все в том же родительски-родном бараке, был накрыт стол. Тот самый, круглый, стародавний, под рыжим абажуром. Стол был накрыт с простецкой широтою и щедростью. И неумело. Николай рулил тут сам, а где ж его сервировкам-то учили! В армии – алюминиевая ложка в сапоге за голенищем и эмалированная кружка за спиной в солдатском сидоре; в тюрьме – железная миска... ни там ни там светскими манерами не побалуют, галантностям не обучат.

– Ты бы, Коль, скатерку бы какую на стол-то положил, – вежливо, осторожно присоветовала Вера. Она сидела на стуле против стола и наблюдала хозяйскую хлопотню Николая.

– Ничё, сойдет и так. Они сестры мне. Не чужие какие-нибудь выгибалы, а простые бабы, без выпендрёжу.

Вера перечить не смела, с доброжелательностью оглядывала приготовленные угощения. Посередь стола в медном фигурном блюде – спелые красные яблоки (за окном август – фрукт и овощ в изобилии),

а сверху возвышается лимон. Николай лимон купил впервые, сам он эту кислятину не любит, но знает, что в чай для баб это неплохо; правда, он позабыл лимон порезать, но это «ничё», главное купил и не забыл выложить. Тут же на столе три откупоренные банки рыбных консервов: со скумбрией в масле, с килькой и толстолобиком в томате, а также семи-сотграммовая, солдатская банка тушенки, уже распечатанная, с отогнутым шершавым жестяным кружляшом верха. На столе еще огурцы, разделанные; помидоры, четвертинками; лук, репчатый; чесночина – головка. В блюде – горстка конфет, для усиления сладости – шоколадка. Хлеб – на разделочной доске. В холодильнике две пачки пельменей – это на второе, на горячее.

«Чё еще-то позабыл? – сам себя спрашивает Николай, тщательно оглядывая стол. – Пряники! Верно, пряники тоже куплены!» Николай суматошится, над столом кружит, добавляет то пряников, то горчицы в банке.

Теперь о напитках. Для запивону Николай подкупил пару бутылок лимонаду и трехлитровую банку пива – рано утром сбегал к бане, в чапок. Спиртное: для сестер и своей избранницы он купил сливовой наливки в семнадцать градусов – купил две бутылки, одну покуда затаил, а другую выставил на стол; ну а для себя взял водки – тоже две... чтоб хватило, если вдруг «масть пойдет», и чтоб в магазин в разгар застолья не бегать.


Окно комнаты было распахнуто настежь. На улице сушь и теплынь. Не знойно: август во второй своей половине. Некоторая желтизна уже в листе, и дуновения ветра чуть свежее – август уже как бы с сединой, с печалинкой, как разочарованный в обманной любви мужчина, но еще не старый и способный на комплименты для красивенькой барышни.



Николай на август совсем не похож. У него никаких разочарований в своей возлюбленной нет. Напротив, его пронизывала гордость за свою невесту. Она и впрямь была хороша!

Взволнованная от намеченного мероприятия, она тайком то и дело взглядывала на себя в зеркало на стене и беспокоилась, как бы чего не помять, не испортить. На ней было розовое крепдешинное платье с рюшами на рукавах и воротнике, на шее – воздушная косынка, сквозь которую проступали бордовые бусы из крупных костяшек; прическа с буклями – всю ночь «мучилась на бигудях»; глаза чуть-чуть подведены черным карандашом, только чуть-чуть: сестры у Николая, это всем известно, намалеванных девах не приемлют. Разумеется, тетка Люба и тетка Шура знали Веру – поселок-то не Москва, к тому же работали на одной фабрике. Вера окончила профтехучилище и трудилась в ремонтно-строительном цехе маляром. Гаденькая работёнка: ацетон, растворители, олифа, краски, но куда денешься. В девочках Вера росла незаметной, блёкленькой и тихой, но, как часто бывает, в юности скоро и неожиданно расцвела лицом, обформилась телом и стала дивчина хоть куда. Но при этом она сберегла в себе что-то покорное, беззащитное, простое – этакое подкупающее девичье очарование, в котором нет никакого гонора; как ромашка посреди поля.

Николай хоть и вертелся у стола, но про Веру не забывал: то ущипнет, то притиснет к себе, то прижмет жарко и неурочно. «Коль, ну Коль, перестань!» – отпихивала его Вера и слегка дулась на него. Тоже выдумал, готовится серьезное дело, а он... Вдруг сестры заметят, скажут, чего они тут обжиманцами-то занялись, невтерпеж, что ли... А Николаю от ее сопротивления только радость и потеха. Он и сам сегодня, по правде сказать, внутренне торже-

ствен и внешне при полном параде. Брюки на нем со стрелками, об которые можно обрезать: почти час через марлю утюжил; штилеты надраены, начищены «как котовы яйца» (да прости ой строгий читатель такой вольный просторечный стиль: сам Николай именно так и выразился, когда пообхаживал свою обувь щеткой с гуталином, а после довел до сияния мягкой бархоточкой). На Николае надета новая белая рубаха, правда, ворот рубахи не совсем свеж, он эту рубаху в прошлый выходной уже обновил, выйдя на вечерку, но все равно он сегодня очень наряден и в общем-то не дурен собой: голубоглаз, русоголов, крепенький, не дохляк какой-нибудь. Хорош. Хороша и невеста Вера, которая от волнения краснела пятнами на лице.

– Чё они не идут-то? Мухи вон к закуси уже льнут, – Николай взмахнул рукой, будто отгоняя мух.

Мухи фактически и не донимали, всего лишь одна какая-то дурёшка летала, зудела, билась маленькой тупой башкой в верхнее стекло в раме, не замечая при этом внизу большой растворенный квадрат. Николай взглянул в окно, пытаясь в перспективе прочитать всю улицу, негромко пробунчал:

– Сказал же им: к трем приходите. Вечно вошкаются.

– Так ведь, Коль, еще без двадцати три, – заметила Вера и улыбнулась, указав на комод, где стоял красный будильник с белым циферблатом.

О! где тот гениальный поэт, который воспел бы качество этих незабвенных часовых механизмов фирмы «Севани», отличающихся дешевизной и точностью хода; эти будильники, как сердца, тикали почти в каждом доме Советского Союза в шестидесято-семидесятых годах!

– Ну и чё? Будильник-то, может, врет как сивый мерин. А сестры-то могли б и раньше прийти – не пе-



реломились бы, – сказал Николай и осторожно, как бы исподтишка, потянулся к бутылке с наливкой: – Может, Вер, пока они где-то шарачатся, грамм по сорок, по рюмашке замахнем?

Вера аж побледнела с испугу:

– Нет, Коль, ты уж потерпи! Как же так-то? Они к початой бутылке придут... Некультурно.

Николай поерзал на стуле, искурил сигаретину у окошка и, костеря сестер за мнимое опоздание, порывался опять было к бутылке. Но Вера его умолиительно отстраняла.

Сестры тем временем идут спокойненько по поселку, останавливаются для беседы со знакомыми – торопиться некуда, к назначенному часу вокурат поспевают. Меж собою ведут рассуждения.

– Не приведи Бог, ежели Николай попадетска какой оторве, или неряхе, или гулящей, – говорила тетка Люба.

– Бывает до замужества-то – этакая козушка, – мудро вздыхала тетка Шура, – а опосля волчарой делается.

– Сволочистый-то характер с детства видать. И трепаная девка по полету заметна.

– Трепаная-то невеста – это уже не невеста, в какие белые платья ни обряжай...

Нравы в Кожуне в ту пору были истинно провинциально русскими: настоящей невестой признавалась только та, которая сберегла девственность и приличествующую скромность в поведении с мужским полом.

Наконец сестры добрались до порога Николаевой комнаты. Здороваются, зорко глядят на Веру – на то и смотрины. Тетка Люба сентиментально-слезливо щурит светлые глаза, она уже сейчас готова безоговорочно принять и обнять Веру, как ближайшую родственницу. Тетка Шура подобной поспешности

не проявляет: взгляд у нее оценивающе-приметлив: что тут за товар? не подсунули бы порченный или негожий. У Веры в тон розовому платью разалелись щеки, губы бантиком слегка дрожат от необычного знакомства с давно знакомыми.

– Ты, Николай, давай-ка не мельтеши и не хорохорься, – сказала строгая тетка Шура, когда брат укорил их за опоздание. – Да и пакли-то к бутылке не спеша тянуть. Чаем нас поперву угости.

– Какой еще нахрен чай! Я чё вас позвал, чтоб чаи, што ли, дули? Наливка вон прокисает!

Николай, прикусив зубами язычок жестяной пробки, живо распечатал бутылку наливки, тем же макарон, с прикусом, раскупорил водку. В граненые рюмки налил сливовочки: сперва – Вере, следом – се-страм; себе в граненый стопарик – водочки; всем – по полной, почти с бугорком.

– Хватит вам на Верку-то пялиться. Будто не видали. Давайте вкатим по первой! – предложил Николай.

– погоди ты, – пристопорила тетка Шура. – По-правильному надо. С пожеланья. С тосту. Люба у нас самая старшая. Ей говорить.

Тетка Люба от значительности момента поднялась со стула. Рюмка у нее в руке слегка дрожала, и наливка даже немного пролилась.

– Дак пускай у вас все по-человечьи... – начала она бодрым голосом, глядя на Веру, но скоро ее голос переломился от слез. – Эх, поглядели бы на вас отцы-то. Сиротинки вы наши, безотцовцы... – И тетка Люба заплакала.

В глазах Веры тоже застеклились слезы, и даже тетка Шура часто заморгала и пришвыркнула... Николай не понимал, в чем дело.

– Вы чё тут в соплю-то ударились? Кончай, Люба, пургу гнать. Вон из рюмки-то льется. Залуди-ка лучше наливочки!



Тетка Люба махнула на него рукой и тут же хлопнула рюмку наливки. Села обратно на стул, утерла нос платком. Тетка Шура и Вера, кивнув друг другу, тоже опорожнили свои рюмашки. Николай махом опростал свой стопарь.

Смотрины потихоньку набирали обороты, винная посуда наполнялась и опрастывалась, вилки подцепляли то кусочек толстолобика, то огуречик. Вдруг с улицы в окно влетел резковатый, фамиллярный мужской окрик:

– Никола, ты дома?

– Дома! Ты и сам знаешь! Чё те надо? – отозвался Николай на голос, а гостьям объяснил: – Это Толян, дружбан мой.

Он мог бы этого и не сообщать, ибо всему поселку известно, что они корешились и работали шоферами в фабричном гараже.

– Я на минутку к нему выйду, перекурю. Стопку водки еще подам, ради события, – сказал Николай, наполнил водкой свою стопку, подхватил пальцами четвертинку помидоры и собрался на улицу.

– Куды ж ты, Коля, от стола-то? Пуцай бы твой Толян сюда шел, – призвала тетка Люба.

– Я его еще утром приглашал. Стесняется он. Вчера на гулянке у шурина ему в бубен дали... Синячище во всю щеку. Да вы сидите, я недолго.

– Ох ты и простофиля, Коля! – повернула к нему свой строгий островатый нос тетка Шура. – У тебя невестушка тут, мы, сестры твои кровные. Какой лихорад с твоим дружбаном делается? Чё ты к нему побежал?

– На минуту токо. Это настоящий дружбан, а не фраер какой-нибудь. – Жаргонные слова Николай средка употреблял, хотя на зоне блатных замашек не заимел, шпаны и всякого ворья чурался.

– Пусть сходит, – робко подала голос Вера. Она до

этого почти все молчала, а сейчас решила мирно сгладить неместный уход жениха к товарищу. Голос она подала, но потом, должно быть, свой язык основательно покусала.

Как только Николай скрылся за дверью в коридоре, обе сестры предупредительно воззрились на нее.

– Ты, девонька наша пригожая, всяких дружбанов не больно-то привечай, – взыскательно сказала тетка Шура. – Они мастаки смузыкивать на пьянку да на гулянку. А Николай теперь будет женатый мужик.

Вера покраснела, глаза ее стыдливо стали прятаться от взгляда будущих золовок. Тетка Люба доброжелательно положила ей свою работающую коричневую руку на ее молодой пухленький локоть, по-матерински мягко и наставительно сказала:

– Да, Веронька, старайся Колю под своим крылом держать.

Тетка Шура подвинула стул, чтобы ближе быть к потенциальной невестке и приглушенным, вкрадчивым, сверляще-неотступным голосом попытала:

– А теперь, девонька, расскажи нам про свою жись. Без утайки. Все равно все скрытное будет известно. В Писанье-то по праву говорится: все тайное делается явным. Были ль у тебя до нашего Коли мужики?

– Ты, Шур, умом, што ли, рехнулась? – резко воспротивилась такому допросу тетка Люба и, казалось, собралась грудью защитит от навязчивой и бесцеремонной сестры невинную девушку.

– Пускай лучше мы про все знаем, чем Николай или кто другой, – сухо и рационалистично ответствовала тетка Шура. – Я не попросту в душу лезу. Чтоб ей же потом заступницей стать.

Бедная девушка Вера! Испытывала ли она еще когда-нибудь такой стыд, отвечая на коварнейшие вопросы неумолимой тетки Шуры. Даже тетка Люба была



возмущена беспредельно. К счастью, все кончилось после первых же двух вопросов. Вера сидела пунцовая, тетка Шура наговаривала ей на будущее мораль:

– Сама себя, девонька наша, держи скромно и Коле вольничать не позволяй. Мужик он и есть кобель, ему лишь бы с бабами кокаться...

– Это уж точно, – кивала головой тетка Люба и развивала мысль: – Мужик-от любую бабу отпетрушит, и спрос не велик. В народе-то недаром говорят: мужик встанет – не пристанет, а на бабе – всё след.

– А уж ежели, – утишенным голосом хитроумной наставницы излагала тетка Шура, – случится тебе, всё в жизни бывает, грешным делом перепихнуться с каким мужиком...

– Да вы что?! – взбунтовалась Вера, вскочила со стула, хотела кликнуть в подмогу Николая.

– Тихо! Тихо, девонька! Ты послушай, – тетка Шура тоже поднялась и подступила к Вере.

– Ох! и липучая ты, Шур! Взялась девку-то травить, – осудительно кинула сестре тетка Люба.

– Лучше счас ей науку дать, смолоду, чем после локоть кусать... Так вот, ежели случится у тебя с каким мужиком, жись есть жись, то никто знать про это не должен. Даже за ноги тебя поймают – отказывайся, говори, что не было. Мудрость такая есть: весь век с мужем живи, весь век люби, но всей задницы не показывай. – Тут тетка Шура еще тесней подошла к Вере и попросила прощения: – Ежели чего-то не в толк сказала, за ради Бога прости. Живите с Николаем ладом. А на нас можешь сполна положиться. – И она обняла совсем было растерявшуюся Веру.

Тетка Люба тоже поспешила прижать Веру к сердцу:

– Счастья да согласия вам!

– Эй, Коля! Где тебя некошной носит? – крикнула тетка Шура, обернувшись к окну.

На крыльце барака Николай и Толян, сидя на корточках, курили уже по второй. Толян рассказывал, как вчера какая-то падла из дальней родни на гулянке у шурина накатила ему кулаком в репу, причем внезапно, сбоку, без предварительной бузы. Половина лица у Толяна действительно превратилась в один синюшный оплыв.

– Ну давай, Никола. Зовут. У тя штука сурьезная – женихаться, – рассмеялся одной половиной лица Толян.

– Ты щеку примочками попробуй. Бодягой помогает. – Николай пожал другу руку и вернулся к женщинам.

Вскоре застолье благополучно продолжилось, и весьма благополучно – родственно, семейно; обговорили всё о свадьбе, даже карандашом на листочке набросали, кого звать и чего и сколько купить; на завтра наметили все вместе идти в местный сельмаг выбирать для Николая жениховский костюм и туфли для Веры; прикинули также количество спиртного, необходимого для свадьбы.

– Грамм по триста, по четыреста на каждого – хватит, – уверяла женская сторона данного собрания.

– Да вы чё? – изумлялся Николай. – По бутылке белого на нос – это минимум. Под хорошую-то закусь. И браги надо две фляги поставить – для разных халявщиков и шаровиков. Неплохо бы про запас и на опохмел две-три четверти самогона. Ну а уж пива пару канистр – никуда не денешься.

– Дак ведь бабам-то по эсколь не выпить, – сопротивлялись женщины.

– Чё они не осият, ихние мужики доберут. Много никогда не бывает, – настаивал Николай.

К тому времени, когда развернулась эта дискуссия, уже были отварены пельмешки и початы зана-

ченные до поры до времени бутылки с наливкой и водкой. Кстати, вторую бутылку водки и остатки наливки Николай после отхода сестер и провожания Веры благополучно уговорил.

Семейный совет. Картина четвертая

Годы летят, – метко и коротко кем-то сказано. Казалось, недавно Николай хаживал в женихах рядом с раскрасивой молодежи Верой, а его попечительницы-сестры пребывали в полном расцвете физических сил. Но чего было, не воротишь. Наша история «отлетела» от прежних событий на два десятка годков. Почему годков? Да потому что уж очень они коротки...

Сестры Люба и Шура уже давненько на пенсии, но до последнего времени продолжали работать на фабрике. Светлые глаза тетки Любы окружили морщины, поуменьшилось алости в полных губах – повыцвели, руки еще более засмуглили, а голос стал глуше, вязче, даже на говоре появился какой-то налет старости. Тетка Шура, несмотря на то, что сберегла в себе черты властности, тоже гораздо поизменилась: в крупных черных волосах заблестели седины, темные глаза глубже забрались в глазницы, а нос вроде как поисхудал и еще сильнее заострился. На ту и другую временами наскокивает разная хворь. Но перемены сестер все же не в сравнение с тем, что произошло с Верой. К своему сорокалетию она подошла с неприятной болезнью в легких: пары лаков и красок свершили губительное дело; теперь Вера работает только с бумагами, заполняет наряды, много кашляет, много пьет таблеток, часто бывает на больничном. И все кутается и зимой, и летом в большую серую шаль, будто бы бесконечно мерзнет.

У Николая и Веры двое детей. Уже взрослые. Дочка Галя в областном центре выучилась на бухгалтера, собиралась вернуться в Кожун, но почему-то застряла в городской жизни... Сын Алеша, чуть помладше, окончил школу с похвальным листом и поступил в военное училище, о чем мечтал с детских лет. Всё вроде бы путём. Да нет, не всё! Ибо сидят сейчас за круглым столом (все за тем же), под абажуром (уже обновленном, но такой же ярко-рыжей расцветки) тетка Люба, тетка Шура и меж ними Вера и обсуждают невозвращение Гали – поступок, все больше обрастающий загадками и слухами.

Вероятно, мой догадливый читатель уже понял, что семья Николая проживает все в том же бараке. Правда, теперь ей передана во владение еще одна комната в их крыле. А сам Николай по-прежнему работает шофером на обувной фабрике. Сейчас он как раз в гараже, не в рейсе, а на ремонте своего старенького ЗИЛа самосвала. И если заглянуть в гараж на минутку, то застанем Николая в боксе, в яме, под самосвалом, в промасленной фуфайке. Он держит в чумазных руках игольчатый подшипник от карданной передачи и матерится из души в душу. На дворе декабрь, а гаражный бокс не отапливается – холодрыга, руки без рукавиц к железу аж пристают, а в рукавицах какой работник! К тому же запчастей для машины нет, и вертись-крутись в потемках ямы под своей колымагой.

– Толян! Эй, Толян! – выкрикнул Николай, оглядывая грязную брюшину своего самосвала. – Пособи кардан поддержать! Слышь, Толян!

Вскоре к яме склонилось лицо Толяна, на правой щеке припухлость, а в подглазье – фиолетово-синё; вчера жена удостоила ботинком – поставила фингал.

– Пособи мне, Толян, – обратился Николай. – Одному никак, етит ее в душу! За мной не заржавеет, пузырек раздавим.



– Погоди, Никола, робу сейчас надену, – Толян уже закончил смену, поставил на прикол машину и, разумеется, не прочь раздавить обещанный пузырьрек. Но и без пузырька он готов пособить Николаю: они по-прежнему с ним верные дружбаны.

Однако, дражайший мой читатель, покинем холодный гаражный бокс, где в тесноте и неуют, весь извоженный в солидоле и масле возится с тяжелым карданом Николай и подсобляет ему Толян, даже не станем свидетелями сцены – выпивка двух дружбанов после трудовой вахты – и не услышим их ругательный разговор о начальстве, которое заботится только о своих толстых харях и задницах, а не о запчастях и удобствах для рабочего человека; даже не будем вникать в подробности: за какую-то провинность жена Толяна оковетила его ботинком по лицу и украсила пухлой синью (ох, и льнут к Толяну синяки!); а вернемся в дом Николая к трем женщинам, которые, казалось бы, праздно попивают чаек, но при этом держат серьезный семейный совет.

– Вся душа у меня за Галю-то извелась, – откровенничала Вера, тихо позвякивая при вязании стальными спицами. – Работает она посудомойкой в каком-то ресторане и живет в общежитии, где тараканы по пальцу величиной. А соседка у нее по комнате вся прокурилась, одну за одной сигаретины пазит. К ней какой-то грузинец ходит, руки все волосастые, жуть... Два месяца назад я Галю проводывала. Она какая-то пугливая все была. И вертаться сюда наотрез отказалась.

– Кабы не изнохратили девку-то, – отхлебнув уже остывшего чаю, сказала тетка Люба. – Чего уж доброго ждать в этих обсажитиях? Неча ей бы таматка и делать, если выучилась. Работала бы здеська, при отце, при матери, как хорошо.

Тетка Шура покачала головой, насупила черные брови и слегка покривилась в лице, поморщила нос, будто дым сигареты Галиной соседки по общаговской комнате, в которую навевается волосастый грузинец, попадал в ноздри и щекотно раздражал пошловатой вонью. Тетка Шура сказала озабоченно:


– Съездить надобно к Гале. Поглядеть. Ежели чё не так, забрать.

– Дак сможем ли забрать-то? – воспросила тетка Люба. – Матерь свою не послушала, а нас?

– Силком увезем, ежли чё не так, – твердила тетка Шура.

Тетка Люба, однако, сомнительно хмыкнула и, как факт, без малейшего укора или иронии, напомнила сестре:

– Ты у нас, Шура, вон какой верховод, а обе дочери у тебя упорхнули. Вобратно не хотят.

Тетка Шура еще угрюмее нахмурилась, но возражать не стала. Стоило ли? За этим столом все уж было объяснено и попережито. А вот тебе, мой добросердечный читатель, пожалуй, необходимо кое-что пояснить. Несколько лет назад у тетки Шуры умер муж. О нем уж упоминалось. Математик. Смирный, вежливый мужик в очках; полы пиджака  всегда в мелу: на доске в школе всё формулы писал да по линейке чертил расстояния от пункта А до пункта Б. Вечерами сидел-посиживал за тетрадками и курил любимый «Беломор». Не приметен был человек, не петушист, не суесловен и уважаем был не показушно, а глубинно, основательно: на похороны собрался весь поселок – и стар и млад провожали его в последний путь от порога школы.

Дочери тетки Шуры – обе круглые пятерошницы – еще давно, при жизни отца, подались в Москву на учебу. Старшая окончила Бауманку, защитила диссертацию по «числовым рядам», вышла замуж за



еврея, тоже математика, родила сына и жила... жила, вряд ли вспоминая часто поселок Кожун. Младшая окончила Первый медицинский, практиковала окулистом в одной из престижных столичных клиник, также обзавелась семьей и от старшей отличалась, пожалуй, тем, что чаще посылала матери открытки к праздникам и недлинные описательные письма. Планида, одним словом, им благоприятствовала, и сердце матери, хотя и ныло в разлуке, но билось спокойно: обе дочери при деле, при месте, а не какие-нибудь пьяные оборванные страни, которых немало на столичных вокзалах... – тетка Шура таких воочию видела.

Теперь обе вдовы и одинокие сестры – тетка Люба и тетка Шура – были еще крепче сцеплены заботой о семье Николая, и положение племянницы Гали их значительно волновало. При чем казалось, что Галя им доверяет больше, нежели матери. И то правда: иной раз перед дальним родственником или вовсе перед чужим человеком легче пролить исповедальную слезу, чем перед отцом-матерью.

– Значит к Гале завтра и поедете? – обрадованно уточнила Вера.

– А чё тянуть? – сказала тетка Шура.

– Да, надо ехать поглядеть, – довершила тетка Люба.

И в этом «поглядеть» скрывалась и зоркость глаза, и многоопытность, и решительность сестер, которые едут оценить жизнь Гали. На словах о завтрашней поездке все было обставлено и как бы для утверждения выкладок было решено еще поставить чайник и со свеженькой заваркой, с мятными пряниками выпить по чашке-другой. Однако конечное чаепитие сорвалось.

В коридоре визгнула входная дверь. Топот ног. Какой-то необычный топот. Будто конь о четырех ко-

пытах норовит переступить порог, но с первой потуги барьер не берется. Раздался чей-то приглушенный понужающий голос, а потом – мычание. В комнату, где сидели женщины, по низу потянуло холодом: входное препятствие «конь» все еще, наверное, одолеть не мог. Женщины поднялись из-за стола и, подспудно догадываясь, в чем там загвоздка, пошли понаблюдать картину. Возле распахнутых дверей, уже одолев порог, стояли, вернее, вертикально держались Николай и Толян. Причем Толян был более тверд. Он нагонял на себя «тверезый», остамелый вид и держал под руки Николая, у которого сбилась набекрень шапка, да и голова на шее была слишком безвольна.

Увидев троицу женщин, Толян извинительно кивнул и, пряча щеку, на которой синью пылала вчерашняя женина ботинная оплеушина, промямлил:

– Николу доставил. Всё, бабы. Мы из гаража. Дубак. Но кардан как новый. – И с тем он был таков, захлопнув за собой дверь.

На некоторое время разразилась немая сцена, когда Николай, не чуя более опорных рук дружбана, остался словно в космической невесомости – очень шатучий и валкий, – а женщины в укоризненно-созерцательном недвижении.

Наконец Николай поднял голову, обвел пьяными умиленными глазами родню и хотел сделать шаг вперед, но не тут-то было. Зеленый змий мотанул вбок. Николай пополз вдоль стены и сгрёб с нее висевший на гвозде оцинкованный таз. Таз с грохотом упал на пол. Вслед за тазом на пол рухнул и Николай. Тетка Люба и тетка Шура бросились его подымать. Вера даже не дернулась, только ту же закуталась в шаль. В подобных сценах она, бывало, чихвостила золотовок: «Это вы его испотачили! Вы!» – на что сестры, выслушав запальчивые попреки снохи, выставляли свой резон:



– Ты, Вера, ершишься, знамо, правильно. Худо любой бабе, когда мужик пьяным рылом землю роет. Но рассуди и про нас. Хошь верти-выверни, а жена для мужика все равно человек чужеватый. Она и к другому мужику переметнуться может. А мы Николаю – сестры, самые родные. Ни он от нас, ни мы от него – никуда. Он сиротина, мы его в войну вынянчили...

Вера либо со слезами на глазах вступала с упертыми сестрами в перепалку, либо замыкалась в себе и с бледностью негодования уходила с глаз долой, в «другую комнатенку», где принимала успокоительные капли и сидела в одиночестве, вязала. Сейчас она брезгливо наблюдала, как болтается голова мужа, который потерял шапку и которого сестры волоком потащили в комнату на диван. С языка Веры сорвался праведный гнев...

Однако не будем о грустном, мой впечатлительный читатель, оборвем сцену возвращения в дом главы семейства, вздохнем вместе с Верой и перелистнем страницу, выражаясь по-литературному, уходящего дня. Даже извинимся за скотское поведение Николая, снисходительно памятуя при этом, что на улице морозно, бокс не отапливаем, а кардан на старом ЗИЛке стал как новый.

Заблудшие. Картина пятая

Спозаранку, еще затемно, тетка Люба и тетка Шура занимались стряпней, пекли пироги и ватрушки – в гостинец для Гали. Управившись с выпечкой, скоренько позавтракали, оделись получше, почище, в новые, еще без кожаных пят, валенки, в выходные полушалки, знать, в город едут, и напрямиком на автостанцию. И дальше – по стылой, со снежными

переметами дороге на трясушем ПАЗике в областной центр, к племяннице – с досмотром и дознавательством. Почему же она, получив специальность по работе с бумагами и цифирью, пошла в какое-то питейно-обжирательное заведение мыть посуду за какими-то жуликами и их шалавами? Почему именно жуликами? Послушаем жителей Кожуна по сему поводу:

– Честный человек в ресторацию пойти не может. Нету у него эдаких денег, чтоб пить ту же водку, что и в шинке, только впятеро дороже.

– Тудысь, конечно, иногда на праздник может и не подлец какой зайти, выпить грамм сто с конфеткой...

– Это в исключение. По незнанию разве что забредет. Да и то потом сто раз пожалеет...

– Верно. Исключительство столбовой правды не своротит. Жулики...

В городе сестры быстро отыскали нужное общежитие – невзрачная кирпичная пятиэтажка с размызганными дверями. Коротко переговорив с вахтершей из вневедомственной охраны, толстенной коротконогой бабой, на которой, казалось, вот-вот лопнет по швам форменный синий китель, сестры с легкой одышкой взобрались на третий этаж и оказались перед дверью, за которой должна бы быть любимица Галя. (Вахтерша-вохрушка только заступила на смену и Галю еще «не видывала».) Вместо племянницы, однако, пред сестрами в дверях предстала курвистого вида молодая бабенка – глаза узкие, лисьи, на веках остатки несмытой ресничной туши, губы тонкие, верхняя – выгнута при разговоре задиристой дугой, – сама вся растрепанная, как шишига, волосы-то темные, но с прядями от белой покраски, в застиранном халате, в разбитых шлепанцах и с сигаретой в руке. Сестры пропустили цепкие взгляды



и мимо нее и заметили грузинца, который сидел на кровати, судя по всему в трусах или без них, так как свесил из-под одеяла волосастые, словно обезьяньи, голые ноги.

– Тетки? Вы-то? Обе сразу? А-а... Нету Гали. Она в поликлинику укатила... Да нет, не простуда. По-женски она, к гинекологу. Оттуда на работу поедет... У-у, блин, сигарета потухла... Не-е, ресторан недалеко отсюда. Сумку-то можете здесь оставить.

– Не тяжела сумка-то, – сказала тетка Люба; речь зашла о весьма объемистой сумке, в которой – выпечка, варенье и соленье – гостинец для Гали.

– При нас пускай будет. Ничё. Не надорвемся, – прибавила тетка Шура.

От Галиной комнаты, в которую даже не попали и не больно-то рвались, сестры удалялись в некотором мрачном смятении. Это смятение они еще не облekli в словесную форму и шагали молчком. Сумку с угощениями, которая тянула жилы и надсаживала поясницу, сестры оставили на сбережение вахтерше-вохрушке. Сильно раздобревшая вахтерша вызывала куда больше доверия, чем курящая соседка и кавказец с обезьяньими ногами. Теперь маршрут сестер чертился к заведению ресторан, где можно было «перехватить» Галю после поликлиники.

День выдался ясный. И хотя зимнее солнце всегда с поволокой, всегда будто напудренное, снег искристо подыгрывал небесному свету. Снег выпал ночью, пышистый, легкий, веселый; приукрасил город, прибрал легким одеяньем скукоту голых деревьев; погода отмякла, мороз сдал, и пройтись по небольшому скверу, по аллее, ведущей к ресторану, можно было бы в охотку, всласть, со вздохом восторга: «И жизнь хороша, и жить хорошо!» – в таком-то белом, чистом, светлом миру. Но сестры шли по аллее в напряге задумчивого молчания. Они даже не переки-

нулись фразами, а лишь одиночными словцами и жестами, когда очутились на широком двухступенчатом крыльце перед деревянной резной дверью, над которой с вычурными загогулинами клеилась надпись «Огни Востока».

Без уверенности в членах сестры, отворив тяжелую дверь, пробрались в помещение и – опешили. Со свету, где повсюду искры снега и солнца, они оказались в полупотьмах, в небольшом, драпированном по стенам синей тканью зале с низким зеркальным потолком. Переминаясь в валенках на мягкой ковровой устилке пола, сестры жмурились и не знали, куда им ткнуться. Вскоре в зале появилась нарядная – в желтой атласной кофте, с высоким блондинистым начесом, с крупными перстнями на руках – баба, видать, администраторша, и глянула на пришлиц большими, на выкате, глазами. Она еще ничего и не спросила, но казалось, уже при первом взгляде на сестер из ее жирно покрашенных губ вырвалось: «Эй, старые шушеры, чего вы сюда приперлись? Со столовкой Дома колхозника спутали?»

Тетка Шура, которая смолоду была и побойчей и повострей старшей сестры и дважды приобщалась к столичной цивилизации – езживала к дочерям – выступила вперед к нафуфыренной злой бабе-администраторше и высказала причину прихода.

– Да. Вроде есть такая, – холодно, словно речь зашла не про человека, а про какие-нибудь зубочистки, ответила администраторша. – В служебке подождите.

Сестры покорно, то с опаской, то с любопытством озираясь, последовали за администраторшей в ресторанный зал, мимо цветных витражей, зазеркаленных колонн, мимо полукруглой стойки бара, за которой посреди всяких-всяконых бутылок стоял крепкий молодой холеный мужик с прической «под



ежика», в белоснежной сорочке, с бабочкой в горошек. Сестры мимоходом подумали: этакому бугаю с этакой толстомясой мордой надо бы моченые свиные кожи на обувной фабрике волочить, а не фужеры салфеткой тереть...

За одной из колонн сестры вслед за администраторшей нырнули в неприметную маленькую дверь и оказались в комнате, где по одну сторону лепились одежные шкафчики, а по другую кожаные банкетки; в торце у окна – стол, у которого сидели-курили две девицы.

– Пусть эти здесь подождут, – бросила девицам администраторша и тут же скрылась.

Девицы на ее слова и на двух толсто одетых текток – ноль эмоций, даже не прервали течение разговора. Тетка Люба и тетка Шура переглянулись недоуменно и, не отважившись поздороваться с девицами, смиренно сели на банкетку, ослабили на шее полушалки.

Одна из девиц, черненькая, коротко стриженная – как общипыш – сидела в мини-юбке нога на ногу, выставив будто на обозрение свои худые голяшки, и, кривя напомаженные губы, пускала дым к потолку, а прежде чем что-то произнести, обязательно хмыкала. Другая, с неестественно рыжими, крашенными волосами, в туго облегающих джинсах, сидела широко раздвинув ноги, стряхивала на пол пепел с сигареты и постоянно поправляла на руке золотой браслет.

После десяти минут пребывания в задымленном эфире комнаты с нечаянно и невольно подслушанным разговором двух девиц сестры опять же недоуменно переглянулись и поднялись с банкетки; перекинулись шепотом:

- На воздух пойдем.
- Давай-ка, давай.

- Таматка Галину ждать будем.
- Сразу бы надо сюды не ходить...

Поспешнее, чем шли вперед, но так же бесшумно – в валенках по коврам – сестры пересекли зал и мимо стойки бара, за которой находился холеный мужик с бабочкой и который теперь казался уж каким-то совсем конченным негодяем и отпетым воругой, жирующем на недоливе, двинулись в зальце, где на страже торчала баба-администраторша – ох! наверно, по жизни и стерва! – вырви глаз! – и дальше, в тяжелые двери, на простор, к солнцу, к белизне снега. Молча отойдя от заведения на несколько метров и снова очутившись на аллее, сестры обе враз сплюнули и возопили:

- Господи! Матушка Царица Небесная!
- Да пошто же этак-то?
- Истинные, истинные лешачихи!
- Тьфу на них, на кобылиц!

И сестры, вспоминая рассуждения двух девиц из служебки – и той, что сидела ноги на расшарачку, и той, чернявой, с бесстыжими голяшками – опять и опять принимались сплевывать: им будто бы злодейски, заместо какого-то угощения, подсунули дрянь, тухлятину, потравленную начинку... А чтобы что-то понять, вернемся назад, мой незримый читатель, в служебку, где не чинясь перед посторонними, беседовали две курящие содружницы, запекали свою знакомую.

«...Он клёвый чувак, не жлоб, предлагал ей к морю скататься, а она попу морщит: ей любовь-морковь подавай, он ей не по душе, видите ли...»

«Хм, дура...»

«В прошлый раз тоже отказалась. Фотограф... Леву Маткина помнишь?.. Предлагал ей голой позировать за хорошие бабки. Ему в какой-то журнал надо было... (Попутно заметим, мой усердный читатель: в стране набирала разгон перестройка, а вме-



сте с нею газетно-журнальная пошлятина.) Она зартачилась: вдруг родные увидят...»

«Хм. Да и хрен бы с ними. Они-то ей таких бабок не отвалят... А тут всего-то жопку каким-то козлам выставить...»

«Она еще и говорит: может, потом с фотографом спать придется...»

«Хм. А чего она, целка, что ли? С резиной бы...»

Стоп! Стоп! Стоп! Мой терпеливый читатель, прекратим это гадкое слушание и поскорее вырвемся на волю, на улицу, к белому снегу. К сестрам. Которые наконец-то проплевавшись и просморкавшись, с ужасом в глазах посмотрели друг на дружку и опять заговорили вперебой:

– Не пущу туда Галю! – сказала, как отрезала, тетка Шура. – Поперек лягу, а не пущу!

– Сама куды хошь за нее работать пойду, но туды – ни ногой! – яростно поддерживала старшая сестра тетка Люба. – Половину пензии готова ей отдавать.

...Галя, милая наша Галя, торопившаяся из гинекологического отделения поликлиники на смену, к моечным кухонным корытам, и думать не думала, что ждет ее таков сюрприз. Словно из-под земли выросли на аллее две родные тетки, с обоих боков взяли в полон; дыша гневом, одна другой ярее стали клеймить каких-то лешачих, какого-то мужика с фужером и бабу с начесом. Галя поначалу только глазами хлопала.

– Не пустим! Ни в жись!

– В экое логово лешачих...

– Изведут. Всю душеньку вымут.

– Да неужель в родном доме хужее, чем в обсажить с тараканами да в дымовухе?

– Пошто домой не едешь? Чё тебя здеська держит?


Галя пробовала вывернуться из капканьих теткиных ухваток, объяснить, что ей надо поспеть ко

времени на кухню, но ожесточенные голоса с обеих сторон насмерть упорствовали:

– Ни шагу туды!

– Токо домой!

И вдруг Галя, как-то враз все понявшая, негромко простонала, обмякла всем телом, чуть ли не повисла на тетках и заплакала. Беззащитная, жалкая, теряющая под ногами землю, она плакала навзрыд, громко, многослезно. Тетка Люба поскорей хлопала варежкой ближнюю скамейку, согнала снег; сестры усадили Галю и сами устроились по бокам.

– Вы думаете, мне приятно  то ль, – сквозь всхлипы, страдальчески заговорила Галя, – в этой общаге, с этой посудой? Везде тошно... Я ведь беременная. На пятом уж месяце. От гинеколога иду. На учете давно...

Тетка Люба и тетка Шура, внутренне содрогнувшись, на некоторое время окаменели. А Галя заплакала еще громче. Слова сбивались.

– Аборт не хочу... – хныкала Галя. – Соседка вытравить предлагала... Ребенок ведь – жалко... И домой страшно. Знаю, что узнают. Все равно страшно.

Галя сквозь слезы, тихонечко, тайком покашивалась на теток, исследовала, видимо, их реакцию. Тетки молчали, лица не суровые, но глубоко задумчивые, и в воздухе над скамейкой завис неспрошенный вопрос: «Кто он-то?»

– Нет-нет, тетя Люб, тетя Шур, вы не подумайте, что я по рукам пошла. Я... Я... Поглянулса он мне. Как одурманил. Он женатый. Здесь на стройке работал. Уехал он теперь. Бросил...

Сестры ни каленым упреком, ни скороспелым утешением в излияние Гали не встревали: пускай сполна раскроет тайну невозвращения в отчий дом, пускай снимет камень с сердца – слишком тяжел он для девушки, у которой материнское бремя во чреве.



Сестры внимательно слушали Галю, которую нахлестами душили покаянные слезы.

Поплачь, поплачь, Галочка! Поплачь, милая девочка! Выплачь свое горюшко, за которым непременно последует радость. Сейчас ждешь ты ребенка – так это не грех. Грех отказаться от него. Твои отец-мать поймут тебя, за любовную промашку простят, а дитеныша полюбят всем сердцем. Будет! Обязательно будет и на твоей улице праздник! Он, праздник-то, всегда приходит к тем, кто его ждет, кто его честно заслуживает. Его, праздника-то, не бывает только у тех, кто его не ждет и заслужить не хочет, кто всю свою любовь и светлые чувства растратит, промотает, обменяет на блага ли какие-то, на деньги ли, на минутные похотливые удовольствия, – вот и нет у таких праздников-то, у лешачих... А у тебя, Галочка, потерпи-ка, миленькая, праздник еще настанет. Слезы твои чисты, нелукавы, враньем ты свою душу не запятнала. Поплачь, Галочка.

А пока оставим, мой снисходительный читатель, Галю и двух теток на скамейке. Тетка Люба и тетка Шура слушают исповедь племянницы, забрюхатившей от какого-то ветрогона-строителя. Впрочем, и им пора отсюда подаваться, дел у них впереди невпроворот: увольняться в ресторане, складываться в «обсажитии», – да и холодно в сквере-то.

– Вставай-ка, Галя, вставай, – оберегает ее тетка Люба.

Ее тут же поддерживает сестра:

– Тебе, Галя, счас ни в коем разе простужаться нельзя...

Домашние хлопоты. Картина шестая

Ранняя весна – чудесное время! Середина марта, и еще повсюду лежат снега, но уже чувствуется та-

инственный дурман омоложения и благодать тепла, размягчающего и тело, и душу. Днем под потоком солнца с карнизов и крыш частят каплями сосульки, на южной стороне темнеют и льдистой крупой осыпаются придорожные сугробы; первый ручеек робко змеится по щербатому асфальту; древний преседой старик, которому, кажется, лет триста, выбрался откуда-то из промозглой избы на теплую завалинку, отогрелся и стал следить за соседской ядреной бабой, которая развешивает выстиранное белье на шпагат и при этом низко склоняется к тазу; ребяенок идет из школы, в портфеле две «тройки с минусом» и «кол», но юнец ликует, в глазах искры, в голове кораблики и скворечник, и пальто нараспашку... И хотя в ночь крепко прихватывает морозцем, дух весны невыводимо растворен в воздухе. Вот и сейчас ввечеру уже затянуло ледком лужи, матово заоченели сосульки; скрипуча остуделая снежная тропка под ногами, пар изо рта, а весны у Кожуна не отнять.

Хлопнула дверь одного из домов, бывшего когда-то бараком. Почему такая перемена: барак на дом? А потому, что крылья барака поделены теперь не на восемь семей, а на два семейства. Одно из крыльев занимает клан Николая.

Итак, хлопнула дверь. На крыльцо вышли Галя и Виктор – ее муж. Они собрались в гости к сослуживцу Виктора – оба работают в механическом цехе обувной фабрики.

– Ты бы на голову-то чего-нибудь накинула. Не простудишься? – подсказал Виктор жене; Галя сегодня разряженная: пальто расстегнуто и видно выходное красное платье, на голове налаченная прическа, оттого и простоволосая – боится память.

– Тут недалеко. Не простужусь. Да и весна... Вить, а Вить, а ты чувствуешь, что весна уже везде чувству-



ется? – Галя рассмеялась, романтично поглядела на розовые лоскуты зари на горизонте, глубоко, откровенно вздохнула и подхватила мужа под руку: – Вить, можно я за тебя подержусь?

– Ты чего спрашиваешь-то? Как чужая?

– Я так... Хорошо мне. – Галя прижалась к плечу мужа, голос ее зажурчал, как весенний ручей: – Слышь, Вить, я такая счастливая с тобой. Тебя лучше нет...

Да, милый мой читатель, не случайно подгадан сей момент в повести: Галя дождалась своего счастья – простого, женского, самого необходимого. История наша и летопись государства Российского продвинулись почти на девять лет вперед. Галя за это время родила Катьку – от соблазнителя, который смылся, – и Саньку – от законного мужа Виктора. Вернувшись в поселок и принеся на свет Катьку, Галя почти три года жила матерью-одиночкой, местных людей стеснялась, с мужчинами тесно не сходилась. Но поскромневшая дорога судьбы пересеклась с дорогой холостого Виктора, вернувшегося в Кожун после учебы в политехническом институте, и суждено было выстроиться новой семье. Всё не просто было, не второпях. Сколько было всего думано-передумано и самим Виктором, и его родителями – ведь зарится на девушку с нагулянным ребенком, – но возобладали любовь и великодушие; а потом появился и Санька, а Катька-то стала удочеренной.

...В конце улицы, по которой шагали сейчас в полуобнимку Галя и Виктор, в сизом сумраке замаячили снопы света от машинных фар. Тентованный брезентом УАЗик, прыгая на стылых кочках и разбрасывая то вверх, то вниз, то по бокам свет фар, ехал навстречу. Когда приблизился, Галя и Виктор сквозь туманную зелень лобового стекла разглядели в кабине Ивана, даже не столько разглядели, а опознали его по седым, ярко-белым усам.

– Наверно, к нам поехал, – сказал Виктор.

– К отцу, – невесело прибавила Галя.

Точно. Поравнявшись с домом, бывшим заводским баракom, у машины сзади ярко вспыхнули красные жуки габаритных огней, и она стала. Из кабины выбрался Иван и направился к светящемуся окну – тот самый Иван, который когда-то был участковым, который уже давно кончил службу и поизносил кличку Мент, который после отставки работал на обувной фабрике ответственным за охрану – начальствовал над сторожами, который не потерял дурацкой привычки сперва стучать в окошко, а уж затем идти к двери.

Стекло в раме зазвенело, и казалось, весь дом пробрало мелкой трясучкой. Три женщины – Вера, бабка Люба и бабка Шура – за круглым столом под рыжим абажуром (интерьер комнаты мало чем изменился) разом вздрогнули и, догадываясь, кто громыхает, заворчали в сторону пришельца. Вера, поту же кутаясь в шаль, пошла открывать двери; теперь двери в Кожуне уже запирались на замки и засовы – не то, что прежде. Вера не спросила: «Кто там?» – и по стуку, и по шорохам и топтанию на крыльце поняла: Иван – нынешний мужнин начальник.

– Сам дома? – резко спросил Иван.

– Где ж ему быть? Чапок у бани уже закрытый, – равнодушно ответила Вера, пропуская Ивана мимо себя в коридор и кивая головой на комнату, где находится «сам».

Иван – не гляди, что годами не молод – широко, пружинисто шагнул к двери указанной комнаты, рванул дверь, вошел. Вера за ним не последовала. Зябко ежась, подкашливая, завернула в другую комнату, точнее, комнатушку, где любила уединенно сидеть за вязанием и мурлыкать какую-нибудь песню. Вера за эти годы сильно сдала, она уже давно по



инвалидности вышла на пенсию. Про свою жизнь Вера старалась не думать, не перебирала прошлое, не ворошила, не сетовала: жила, мол, и жила, хуже ли, лучше ли – какой мерой брать? – одна теперь у нее забота: чтоб у детей да внуков всё ладом складывалось. От своего муженька она уже давно «отступилась»; душой надсадилась от него и «отступилась»; они уже давно и спят с ним врозь.

Вот и до Николая добрались. Бытует расхожая шутейная поговорка: каждому мужику за свою жизнь надо выпить свою цистерну – с водкой, с вермутом и портвейном, с лекарственными настойками, кому-то в той цистерне достаются даже присадки одеколона и стеклоочистителя. Казалось бы, Николай, который в деле осушения цистерны никогда не шланговал и от обязанностей не отлынивал, к теперешним летам должен бы был успешно ее осилить иль подобраться уже к самому доньшку. Ан нет, он по-прежнему грузил свою печень полнехонькими стаканами разного пойла: видать, цистерна ему досталась увеличенных объемов или к цистерне подцепили из неучтёнки еще какой-то дополнительный бак.

Николая пробовали лечить от алкоголизма. За его спиной. Без его ведома. Вера почти полгода подсыпала ему в еду какую-то особую заговоренную травку, но он, по словам той же Веры, «стал надираться еще пуще». Появлялась в Кожуне лупоглазая цыганка, тощая и верткая, как пантера, которая алкашей вылечивала по фотографии. Вера к этой шельме фотографию Николая тоже снесла. После чародейства фотография Николая пожелтела, а он как принимал на грудь «грамм по восемьсот», так планку и не понизил.

Однако шутки шутками. Перестанем хотя бы на время ерничать и злословить по поводу пьянства. Встаньте, мой благородный читатель, обнажите го-

лову и замрите на минуту в молчании: умер Толян... Славный ведь был мужик, по большому счету. Безотказный. Эх, как нелепо сгорел, стравился, стал жертвой диверсии под кодовым названием «Спирт «Роял»! Чтоб этим вражинам, которые на Россию такую чуму напустили, испытать такие же корчи, что и в предсмертии перенес Толян! (Причем вражинам-то не чужестранным – своим, иудам, иродам...)

Ладно, вернемся к Николаю. Над ним сейчас стоял, свирепо растопоршив седые усы, Иван и выкрикивал – не столько Николаю, сколько его сестрам:

– Выгоню Николу! Завтра же уволим! Докладную директору!

– Да чё ты городишь-то? Типун тебе на язык-от! – резко осекла его бабка Шура.

– Не горячись, Ванюшка. Николаю до пенсии месяц остался. А ты – выгоню. Нельзя этак, – полюбовно хотела сговориться бабка Люба.

Иван не стихомирился, застучал себе кулаком в грудь:

– Сколь уж я его терплю? Народ без работы мается, а его, гада, держим... Мне самому за него на смену выходить? А?

– Широко вачегу-то не разевай! – фыркнула на него бабка Шура. – Мы сами твои ворота лешачьи открываем. А к утру Николай как стеклышко будет. Чё директору-то писать!

– Да, Ванюшка, надо Николаю пенсию выработать, – вела мягкую тактику бабка Люба.

Иван махнул рукой и направился к двери, от порога бросил:

– Ночью буду ставить машину в гараж – проверю. Чтоб на работе был! – Он погрозил кулаком Николаю и хлопнул дверью.

Николай, однако, ни голоса, ни телодвижений Ивана-начальника не воспринимал. Он был пьян,



спал на диване нераздёванный, в телогрейке, в валенках, и всё ему – хрен по деревне, два – по двору... Недавно он прикандыбал из чапка и завалился на диван, позабыв, что нынче в ночь надо заступать ему на суточное дежурство в фабричный гараж. От шоферских обязанностей Николая уже давненько освободили: попей-ка с его-то – каков выйдет шофер? Некоторое время он обретался в гараже слесарем, но и тут частенько оказывался не в можах и сговорился наконец с руководством, чтоб дали ему доработать до пенсии на сторожевом посту. Вернее сказать, об этом столковались с начальством сестры. Служба не тяжела. Сиди в сторожке, сутки через трое, глазей, чтоб чужаки через калитку не шлялись да открывай-закрывай ворота машинам, благо не вручную, жми на рубильник.

Когда разъяренный Иван ушел, в комнате – и, чудилось, во всем доме – стало как-то особенно тихо, – тихо, даже несмотря на сап Николая, уткнувшего нос в угол старенького дивана с откидными валиками. За окном уже фиолетово смерклось. На круглый стол, где стояли две пустых чашки и остывший чайник, прямо и цельно падал электрический свет; а по-за стол размыто пролегла по окружности граница света и полутени, намеченная сверху оранжевым, значительно выцветшим абажуром. Во всем таилась какая-то задумчивость, грусть, старчество.

Обеих сестер теперь в поселке кличут бабками. Да ведь, считай, заслуженно: обе почали по восьмому десятку годов. Обе стали менее ходовые, дали доступ болезням, пообморщились с лица, – впрочем, неблагоприятное дело описывать женскую внешнюю немолодость.

Бабка Люба, устало сложа в подол руки, поминала годы войны. Голод, повальный голод. Особенно в зиму, в холодищу, он становился очень лют. И особен-

но жаль было детей. Ей почему-то казалось, что голодный ребенок – обязательно чумаз, болен, часто – завшивлен. Вот и Николка всю войну чумазым проходил. Бабка Люба покосилась на спящего Николая: казалось, недавно он мальцом-то был; вздохнула; опять оборотилась к прошлому. Эх, мало было в нем свету. Сиротство, вдовство. Многолетне гнула спину – и в прямом, и в переносном смысле – на фабрике... Какая-то обида подступала теперь к бабке Любе. Может, и не было бы этой обиды – не она одна так жизнь черпала, – если бы не нынешний бардак. Фабрику какие-то прощелыги, которые и в Кожуне-то не живали, в свои липучие лапы загребли... Как же так-то? Разве кожуновским людям не обидно? Да и погляди-ка вон, и войны нету, а чумазые-то ребёнки по улицам шастают – знать, голодные.

А мысли бабки Шуры витали сейчас вдали от Кожуна. Не так давно она ездила в Москву навестить дочерей. «Может, в последний раз выбралась. Стара уж разъезжать-то...» – рассуждала она. Вернувшись из Москвы, бабка Шура долго таила рассказы про дочерины судьбы, на расспросы отвечала отговоркой: «Хорошо живут. Как раньше. Этак же», – и лишь на днях открыла всю правду. Младшая, что врачиха-окулистка, поменяла мужика. Прежний муж ушел к другой бабе – помоложе. А дочь бабки Шуры сошлась с мужиком постарше, с директором клиники, в которой работала. Теперь стала жить еще богаче и «дочь свою отправила на выучку в Германию». А старшая? Та, что математичка-то? А со старшей-то и было чуднее всего. Она с семьей уезжала навсегда в Америку. Она ничего и не пыталась объяснить матери, и бабка Шура не лезла ей в душу, да и вообще никак не могла поймать открыто, чисто, напрямки дочерин взгляд, как никогда не могла поймать все время убегающий взгляд зятя-еврея, профессора математики. С внуком бабка Шура и вовсе



общалась будто бы на разных языках. Чернявый, кучерявый, породой совсем не в светло-русую мать, он был доброжелателен и словоохотлив, указывал бабке Шуре на экран компьютера, предлагал попробовать потрогать «мышь», рассказывал про какого-то богача Билла Гейца, у которого часто виснет какой-то виндоус, про какие-то чизбургеры с беконом, про какой-то американский университетский городок, где собирается жить и учиться всего за четыре тысячи баксов в семестр. Бабка Шура внука ни о чем не спрашивала, никогда не перебивала и вела себя с ним так, как, наверное, вела бы себя в обществе со случайным попутчиком.

Свою старшую дочь она ни в чем не судила, и не столько разумом, сколько чутьем, по наитию догадывалась, что Москва – это уж совсем иной город, вроде уж как всемирный и уж вроде как не в России, и что здесь много людей нерусских, которым на всех русских и на всю Россию наплевать, и что здесь даже среди русских много сволочей и паразитов, но много здесь и людей умных, учёных; да и жизнь тут слаще, удовольственнее. Как ни тепло под тулупом на полатях в натопленной избе, а в городской квартире на широкой постели удобственней.

Был момент, когда дочь как бы напоследок насылалась деньгами, но бабка Шура от денег испуганно отказалась и очень пожалела дочь. Вроде она и при достатке, и при непьющем мужике, и при мыслительном сыне, а жалко ее, – вроде даже не в теплую откормленную Америку она собралась перебираться, а куда-нибудь на промерзлую полуголодную Колыму. Жалко дочку.

...Дверь в комнату отворилась. Гудя и пыхая, к бабкам и дедке шел Санька – пятилеток-малец, Галин и Витин сын. В руках он держал игрушечный паровозик, который направил сперва по вымышленным пу-

тям к неменяемому дедке, но вскоре перевел стрелки и покатил игрушку к бабкам. Бабка Люба и бабка Шура, выбираясь из заботы невеселых раздумий, улыбнулись внучатому племяншу, светлоокому, бело-брысенькому, с румянными щечками.

Следом за Санькой в комнату прибежала Катька, проворная курносая девчонка, сметливая и даже острозыкаяя в свои восемь с половинкой лет. Как старшая сестра она опекала братца и следила за режимом дня. Сейчас подходило время смотреть вечерний мультфильм, потому они и перебрались в эту комнату, к телевизору.

– Ну чё, бабули, как деда-то на работу потащите? – спросила Катька. – Можно было бы на салазках, как прошлый раз. Да полоз у салазок-то отвалился. Не починены.

Бабка Шура вяло махнула рукой: мол, как-нибудь дотащим; она все еще сердцем была возле своих богатых столичных дочерей.

– Не на салазках, так в санках-лубянках докатим. Они на ходу, – отозвалась на проблемный вопрос бабка Люба. – Сейчас хорошо – подстыло. Живёхонько доведем. К утру выспится. Главное – на работе будет. На лубянках...

– В лубянки-то дед не войдет, поди. Узковаты. Разопрет плетюху-то, – рассуждала Катька, глядя на спящего дедку, и сопоставимо прикидывала ширину лубяного короба и дедкиного тела.

– Ничё, впихаем, – все еще полуравнодушно и с тем же вялым движением руки сказала бабка Шура.

– В лубянках-то еще и лучше, – подхватила бабка Люба, – подождет бортами-то, не выпадет... Да ты включай, Кать, телевизор-от. Эти цветные мураши-то для Саньки, поди, уж забегали.

Экранное окно вспыхнуло. Замелькали рисованные зверьки мультипликации. Санька смотрел на



них сосредоточенно и пытливо, открыв рот. Катька, вероятно, данную мультяшку отглядела уже раньше и сосредоточенности не проявляла, сидела на стуле, мотала ногами. Бабка Люба и бабка Шура в пестрявое окошко экрана смотрели без заинтересованности, никакой сюжетец не мог их увлечь. Николай по-прежнему дрях.

После мультфильма по телевизору погнали информационную программу. Санька тут же стал фыпеть наподобие всамделишной паровозной трубы. Катька, подперев по-взрослому кулачками голову, серьезно смотрела на экран, вслушивалась в новости. Сестры за программой следили с подозрительностью, они как будто наперёд знали, что ничего светлого и утешного им не сообщат.

– Вот и поработали мы с тобой, Шура, на советскую-то власть, – отглядев новости, горько заметила бабка Люба.

Ведь и точно: никаких добрых известий им новая жизнь не припасла. А после унылых новостей накатанно подсунули рекламу.

Бабка Шура кивнула на экран:

– Катька, переключи. На этих жувачных кобыл смотреть – с души своротит.

Катька соскочила со стула, щелкнула на телевизоре клювиком. Попали на канал, по которому валили почти круглые сутки разную американскую кинонуть. Сейчас угодили на киношную сцену: полунагой мужлан, с голым накачанным торсом, тупорылый, как все голливудские костоломы, подламывал под себя полунагую бабу, у которой наполовину сполз с титек лиф; мужлан норовил опрокинуть ее на кровать и при этом усиленно шарил руками по ее ляжкам, обтянутым черными чулками с ажурной резинкой. Баба потворствовала таким притязаниям.

– Катька, выключай! – строго приказала бабка Шура.

– Тыфу ты! В телевизоре-то опять одни бледи, – сказала бабка Люба. (Нехорошее слово она именно так и произнесла, с буквой е – бледи.)

Катька ткнула кнопку, оборвала похотливые заигрывания заморского мужлана к заморской же «бледи».

Бабка Шура подошла к дивану и с металлом в голосе прикрикнула на брата:

– Пора ехать! Подымайся, Коля! Пока дотащимся, смена и начнется... Ты, Люб, водой из чайника рожу-то ему спрысни... Катька, накинь на себя шубейку, чтоб не простыть, да вытащи на крыльцо лубянки из чулана. Санька, ты посторонись с трубой-то. Вон в уголочке поиграй, – раздала указания бабка Шура, у которой на всех хватало строгости, кроме своих дочерей, и накинула себе на голову полushалок.

И вдруг из груди бабки Шуры вырвался вой. Плечи у нее затряслись, все тело мелко заколебалось, а вой превратился в нарастающий истерический стон. Бабка Люба, Катька и Санька замерли в напряжении. Поначалу они и не поняли, что бабку Шуру распирает, раскачивает, расшатывает дикий смех. В этом смехе был и стон, и вой, и сип, и ахающие вздохи, и клокочущий хохот:

– На работу... – гоготала она со слезами на глазах. – Повезем голубка на работу. Сторожить... Сторожить повезем... В лубянках!

Тут прыснула Катька. К ней тут же присовокупилась бабка Люба, раскусив, в чем весело-грустная ирония сестры. Санька с паровозом поближе подкатил к двум бабкам и сестренке Катьке, которые окружили дедку и упивались смехом. Санька покуда не добрался коротким малоогодовалым умишком, в чем смак потехи, но за компанию тоже захохотал, звонко, повиз-



гивая, как от щекотки. На веселый гвалт в комнату пришла Вера и, хотя в смех не ударились, но улыбкой насмешки себя в этом обществе засвидетельствовала.

Возможно, от нависающего гомона, возможно, от внутренних позывов Николай икнул, очнулся и выполз из хмельного провального сна. Осовело оглядев смеющиеся лица, он не испортил картину – благодушно и пьяно растёкся улыбкой.

– В лубянках, дедка, на работу поедешь, – известила Катька.

– Каждого бы так-то возили, – усмехнулась Вера.

– Деда, у тя лужьё есть? – попытал Санька.

Ни на вопросы, ни на реплики Николай не отвечал. Лёжучи, позёвывал, ухмылялся.

– Ну все, Коля, хватит! Подымайся! – осерьезнев, сказала бабка Шура, потянула Николая за рукав. – И вообще... До пенсии мы тебя доведем, а уж там... Намудохались мы с тобой.

– Да, Николай, нам годов-то поболее твоего, – хватая брата за-под мышку, чтоб усадить, продолжила сестрину мысль бабка Люба. – Ты бы по уму-то нам подмогой должен быть.

– Токо до пенсии. Токо до пенсии тебя доведем, – твердила, пыхтя, бабка Шура, подтаскивая Николая до сидячей позы.

Наконец Николай кое-как утвердился в своей сидючести, сбросив с дивана ноги, и тряско погрозил сестрам указательным пальцем:

– Э-э... вы тут не филоньте! Вы меня еще по-человечески похоронить должны!

Сестры переглянулись и на минуту оцепенели. Видать, обе прикидывали, сколько же им придется еще жить и здравствовать.

– Вот-вот, так вам и надо... – тихо прокомментировала Вера, покуталась туже в шаль и ушла к себе в комнатенку, в одиночество.

Катька, накинув на себя шубейку, умчалась в чулан: вытащить оттуда санки-лубянки. Санька онемело приторчал в уголке, чтоб не мешаться под ногами; глядел, как бабки застегивали на дедке фуфайку, натягивали ему на голову шапку, покачивали его из стороны в сторону.

– Чё раскис? Коля! Вставай! – трезвила брата окриком бабка Шура.

– Давай-ка, милый, давай, – щебетала подле него бабка Люба.

Санька с удивлением наблюдал сборы дедки на работу, где дедка должен сторожить гараж. У дедки подкашивались ноги, плохо держалась голова: то запрокидывалась, то падала на грудь – шапка поминутно съезжала. Бабки о чем-то еще упрасивали дедку, к чему-то призывали, но в конце концов подхватили его под руки и почти волоком (он едва перебирал ногами) переместили в коридор, а потом и дальше, на крыльцо, возле которого стояли санки-лубянки, приготовленные Катькой. Выйдя из комнаты, Санька уже из коридора в приоткрытую дверь следил, как две бабки впихнули дедку в лубянки и покатали в сторону фабрики. Дедка немного брыкался, с него спадывала шапка. Но вскоре две бабки и дедка в санках-лубянках скрылись в потемках улицы.

Катька и Санька вернулись в комнату, где круглый стол под абажуром. Санька опять взялся гонять паровозик, надувал щеки и трубно выпускал пар. Катька включила телевизор. Иностраннный, без дубляжа фильм продолжался. Так же отрывисто и противно гундосил переводчик, который, наверное, родился с насморком, выдавал короткие однообразные фразы персонажей. Но тут переводчику дали передых: камера отсняла танец. Две молодые, грудастые, крутобедрые девицы в узёхоньких лифчиках и узёхоньких трусах вышли на сияющую огнями низ-



кую сцену какого-то большого ресторана или казино и под музыку стали вертеться вокруг блестящего тонкого столба. Они жались к этому столбу, тёрлись об него грудями, обхватывали его ногами; они выгибались и извивались как две змеищи. «Эк ведь как их изнимает!» – подумала Катька, наблюдая, как девицы все злее лезут и жмутся к столбу под зорким доглядом большой стаи ресторанных мужиков. Катька посмотрела на братца. Санька, оказывается, забыл паровозик и во все глаза пялился на экран. И тут девицы принялись друг с дружки стягивать трусы. Катька не выдержала, бросилась к телевизору, заслонила от Саньки экран. «Экие бесстыжие – перед мужиками-то без трусов», – брезгливенько поморщила нос Катька и вырубил телеприемник. Затем она обернулась к братцу и встретила его вопросительный взгляд: мол, зачем отключила?

– Это, Санька, бледи! Нечего на них глаза лупить! – строго сказала Катька, употребив ругательное слово с тем же произношением, что и бабка Люба. – Пошли спать. Поздно уже. Вон по будильнику-то сколь времени. И глаза у тебя мутные. Спать, поди, хошь во всю матушку, а музузишь себя – сидишь филином.

В ответ Санька что-то пробухтел, но сестре повинился. Они пошли в свою комнату. В коридоре, однако, Санька высвободил свою руку из ладони сестры.

– Чё? В уборную хошь? Ну иди. Я счас свет зажгу, а то тебе тяжело до выключателя тянуться.

Санька ушел по своим малым нуждам, а Катька в детской на постели братца сбила, напушила остренькими кулачками подушку. Вдруг в коридоре раздался грохот. С гвоздя, видать, упал грохотливый старый таз из оцинкованной жести. Катька выскочила в коридор. Санька сидел на полу и держался одной рукой за голову, другой – за колено. Катька тут

же сообразила, что братец ловил ворон, проглядел маленький приступок, запнулся и головой сшиб висевший на стене таз.

– Чё же ты башку-то свою не бережешь? Смотреть надо, куда ступаешь-то! – Катька помогла Саньке подняться с полу, оглядела его белобрысую голову. В одном месте была заметна краснина – наверно, взбугрится шишкой. – Ну а с коленкой чего? – Она задрала штанину братца: на коленке отделилась тускловатая ссадина.

«Тряпку бы с мочой надо привязать, – подумала Катька. – Да он, пожалуй, весь высикался. Придется самой».

– Больно? – спросила Катька, осторожно дотрогнувшись до ссадины пальцем.

– Бо... бо, – забобокал Санька, кривясь от боли.

– Ну, иди в постелю. Я счас приду. Вылечу тебя. Ромушку с тепленьким лекарством приложу. – Катька коротко рассмеялась и, глядя на жалкого, самим собою побитого Саньку, строго, по-взрослому наказала: – Ты башку-то свою береги! Чё у тебя от нее останется, если ты с детства ее будешь калечить! Башку надо беречь сразу!

Санька пошвыркивал рассопливившимся носом.

Среди звезд. Картина седьмая

В приворотной сторожке огонь не горел – это чтоб ночной охране зримее прочитывать из окон владенья гаража с примыкающими к гаражному забору окрестностями. Но штатный охранник заботу об охране объекта променял на топчан, где мирно выдавал сухо-надтрескивающий храпоток и безалаберно дотягивал свою трудовую стезю до пенсионного ценза. Вместо него стерегли гаражные по-



темки две сестры – две бабки – Люба да Шура. Они сидели у окна за столом друг против друга.

Если глядеть из того окна, возле которого сидели сестры, в синеватую ночную мартовскую мглу, то взгляд сперва пронзит мутно-желтый конус слабого света от фонаря, который висел у гаражных ворот, проскользит по призаборным осевшим сугробам, перескочит через небольшую низинку-пустырь и уткнется в темные строения Кожуна. В домах уже повсеместно потух свет: люди спят, час далеко за полночный. А если взгляд устремится вверх и пересечет надгоризонтную подмороженную синь потемок, то окажется в необъятые неба, в хороводе звезд, в потоке уходящего в бесконечье серебряного песка...

Ночь нынче ясная. Небо отчетливо вызвездило. По весне, как по осени, воздух бывает прозрачен, и небесные россыпи будто с картинки. По весне к тому же в небе прибавка: множественней и резче выступают на небосклоне планеты Солнечной системы. Глянь – висит над лесом голубая, манящая, как красивая девушка, звезда Венера, безмолвно призывая к вечной любви; или юный Меркурий, какой-то необыкновенный ночной странник, звездный романтик, зачаровывающий песенник; или мудрец Юпитер, опоясанный каким-то сумасшедшим круговоротом танцующих комет, астероидов, космических брызг... О! право, мой сердечный читатель, как оболваниваем мы себя, забывая, что над нами есть звездное небо.

Сестры – Люба да Шура – глядели из сторожки на звезды; названий они им не знали, они и не были им нужны, эти названия: в ночном небе есть неслышная музыка, шепот безмолвной лиры, и сестры эту музыку сейчас слышали. Говорили меж собой доверительными, трогательными в аккомпанементе затишных потемок и ровном хрюпотке брата голосами.

– Слышь, Люб, – признавалась бабка Шура. – Я весь день про дочерей думаю... Отбились они от меня. Может, я тут и сама виноватая, может, и судьба-судьбинушка экая... Всё у них вроде есть, а мне всё думается, что недодали им чё-то. Я, может, и недодала... – Бабка Шура даже всхлипнула: под старость стала она слезлива. – Мы, кажись, в небогатстве росли, а всё вроде их счастливише. Они, дочери-то, друг с дружкой и не ходятся. А ты помнишь ли, Шур, как мы всем домом под окошком пели?

– Как не помнить, – ласково откликнулась бабка Люба. – Хорошо пели. Дружно. – Она вздохнула. – У тебя, Шур, все ж другая жись была. Я-то ведь солдатка вдовая, без детёв. На мою жись завистников-то не сыщешь, а и то иной раз подумаю: нонешних людей-то мне жалко... Как-то худо они живут. Даже не по деньгам худо-то. Разве в войну сытней было! Дружелюбства у них не стало. Без души живут. Ничего вроде вокруг себя не замечают, про других ничего не знают, никого не жалеют... Как же дальше-то на земле будет? Вот мне чего непонятно. Вроде как самого главного они про свою жись не знают.

Сестры помолчали. Заунывно лилась неслышная музыка небес...

– Ой, вон гли-ко, Шур, точка по небу ползет! – негромко ойкнув, указала в окно бабка Люба. – Спутник, што ль, какой?

Сестры прильнули к окну. К старости изблизи они предметы различали не больно четко, но дальнорозоркость для их глаз словно бы в компенсацию.

– Может, спутник. Может, и самолет, – сказала бабка Шура. – Говорят, самолет-от этак же с земли звездой кажется, ежели высоко-высоко.

– Ты, Шур, летала ли на самолетах-то?



– Да ты об чем, Люб? Знаешь ведь: не летала. Отказалась я. Дочери уговаривали из Москвы лететь, а я чё-то забоялась.

– А я бы, Шур, пожалуй, не забоялась. Полетела. Хотца сверху-то на всё поглядеть, – сказала бабка Люба.

Синяя точка двигалась по небу; причем осторожно, не лихача, не сталкиваясь со звездами.

– Может, Алешка летит, – умиленно предположила бабка Шура.

– Я уж об том же думаю. Вдруг – Алешенька, – благогостно озаряясь улыбкой, подхватила бабка Люба.

Вот, неустанный мой читатель, пришла минута поведать вкратце о младшем сыне Николая и Веры, сведения о котором ранее умышленно опускались, – об Алексее.

Алексей, невзирая на скромность провинциального образования, замах на будущее сделал широк, да и удар вышел неслаб. Что не смогли дать кожунские учителя, позаимел сам: неистощимым любознательством и настырным нравом. Ум совершенствовал математикой и шахматными этюдами, тело калил каждодневными обливаниями и зарядкой на турнике. Оттого и поступил с успехом в летное училище; с успехом его окончил; учился в дальнейшем в военной академии, а службу нес, опасную и почетную, в Подмоскovie – летчиком-испытателем на каких-то особых сверхскоростных воздушных судах. В последнее время поговаривали (сам Алексей дал к этому тонкий намек), что готовится он в отряд космонавтов. Гордостью, отрадой, ощущением незрешности и своей собственной жизни переполнялись сердца всего семейства, коснись речь про родного Алешку...

То ли спутник, то ли подзвездный особенный самолет пересек небо и куда-то исчез, как будто полетел дальше уже не над землей, а от нее, в глубь необозримой вселенной.

Через полчаса и бабка Люба, и бабка Шура, положив головы перед собой на руки на стол, обе спали, утомленные хлопотным днем, досужими разговорами, ночным бдением, сопревшие в тесноватой сторожке, где было жарко натоплено. Без пробудок спал на топчане и Николай.

Какие сны виделись Николаю – описанию почти не подлежит: бессвязные мозаичные картинки вспыхивали в его сонном пьяном мозгу, – словом, галлюцинации, бестолковщина и бредятинна. Но то, что снилось бабке Любе и бабке Шуре, вполне реалистически описуемо.

Бабке Шуре в сию минуту снился какой-то посланнический или делегатский сон. Будто бы стоит она на трибуне в главном зале в Кремле, представительница будто бы всего русского народа, а перед ней – всё российское начальство, начиная с депутатов разных мастей и пошибов и кончая самыми важными министрами и президентом. Бабка Шура держит пред ними речь. Не просто речь, а народное послание, которое безукоснительно должно соблюдаться всей чиновничьей шатией-братией, а президентом контролироваться строжайше-строжайше.

– ...Чтоб лешачих всяких с голыми задницами и бесов, чернящих народ русский, с телевизоров гнать в шею! Чтоб сраму там не было, и чтоб с ребенком глядеть было не стыдно!.. Чтоб богатые воровать не смели! Вся бедность не оттого, что бедные на руку не чисты, а оттого, что богачи воруют! Бедных за воровство на первый раз прощать, пусть только чужое возвратят, а богачей за воровство – в кандалы и пожизненно на черные работы!.. Чтоб всякое начальство каждую неделю выходило к простым людям и с этими же людьми шло в церковь! И чтоб президент перед всяким нищим и сирым кланялся в пояс и просил у них прощение: он для них отец и заступник, и в том



его великая вина, ежели они голодны и бездомны!.. Чтоб учёные собрались все с умом и изобрели такие лекарства, которые уберегут всех мужиков русских от непомерного возлияния водки, а молодежь отвадят от всякого вредоносного дурмана!.. И чтоб...

Эх, жаль, мечтательный мой читатель, не услышат наяву речь бабки Шуры ни парламентарии, ни министры, ни президент! Экие они у нас наяву-то тугоухие!

Сон бабки Любы не был официален. Ей мнилось в красочном видении, будто бы сидит она в кабине космического корабля рядом с Алексеем и глядит с облачной высоты на землю. Перед Алексеем на пульте разные кнопки, лампочки, рычажки – он управляет полетом, а бабка Люба – как путешественница, прилепилась к иллюминатору и диву дивится. Неблизко до земли, очень неблизко, но все видать, все различимо: реки тянутся извилистыми змейками, города как скопище мелких коробок, поля и леса словно по линейке вычерчены; но если еще острее взглядеться, то и каждый поселок, и каждый дом углядишь. Даже людей различить можно при желании.







– Смотри, тетя Люб, сейчас над Кожуном пойдём, – предупреждает Алексей и широко улыбается бабке Любе.

А она еще плотнее к стеклу прилепилась. И впрямь: вот он, их родной Кожун! С высоты всю обувную фабрику видать с высокой трубой котельной и все дома, и всех людей... Почему-то все жители Кожуна высыпали на улицы, как будто им виден космический корабль, в котором проплывает над землей бабка Люба со своим племянником, командиром корабля, Алексеем – Николиным сыном. Народ на улицах Кожуна веселый, нарядный, говорливый. Все бабке Любе и Алексею приветливо машут руками. Безмерная, как небо, радость охватывает

бабку Любу в этот светлый сонный час.


...Под окном сторожки, напротив гаражных ворот, остановился УАЗик. Не шумно – без тормозного писка, без гроыханья подвески. Как было обещано – в ночь вернулся Иван. Глянув в сторону сторожки, из дверей которой навстречу ему никто не вышел, Иван затопорщил было свои седые усы, хотел было взорвать пустынную тишь призывным звуковым сигналом. Но в последний момент оборол в себе начальственную спесь. Выбрался из кабины, подошел к окну сторожки. Прежде чем забарабанить по привычке в окно натренированной костяшкой пальца, он приложил к стеклу руки домиком, чтобы затенить отсвет фонарной лампы, и заглянул внутрь. В глубине сторожки на топчане угадывался невнемлющий охранитель Николай, а у окна, на столе, почти перед глазами – склоненные головы двух спящих старух.

Иван хмыкнул, пожевал ус и сам пошел к электрошлиту с рубильником, чтоб отпереть ворота. Когда створки ворот залязгали, заскрежетали, закрипели, расплзаясь по сторонам, на крыльцо сторожки выбежали встрепанные спросонок бабка Люба, бабка Шура и еще не проспавшийся Николай.


В ногах скрутилось одеяло,
Часы с кукушкой били шесть.
Мне мама Пушкина читала 
Тогда не так хотелось есть.
Забыв, что поздно и беззвёздно,
Что сказка го не всерьёз,
Мы знали папа будет поздно,
Но он нам Пушкина принес.
И унывать нам не пристало
Из-за того, что суп не густ.
Мне мама Пушкина читала 
Я помню новой книжки хруст...
Давно мой папа на погосте,
Я ж повторяю на бегу
Строку из «Каменного гостя»
Да из «Онегина» строку.
Дряхлеет мама... Знаю, знаю 
Ей слышать годы не велят.
Но я ей Пушкина читаю
И вижу олотится взгляд...


Позабить обо всем,
что в беспамятстве явью казалось,
Позабить обо всем, что царапало
душу порой.
Я усталость гоню...
Только снова приходит усталость...
И устало мерцает
сквозь облако луч золотой.
Коченеет ладонь...
О себе говорить не пристало...
Всё слежу, как на свечке
колеблется узкий огонь.
То почти оживет...



То внезапно поникнет устало.
А ладонь поднесешь –
все равно коченеет ладонь.
Как болит синева!...
И любимая нет, не со мною...
Эти полунамеки,
где только печаль – наяву.
Синеву женских глаз неспроста
нарекли синевою –
Синевою упиться...
И снова нырнуть в синеву...
Только там, в синеве,
заскоружлыми чувствами тая,
Понимаешь, как вольно
пичуге в дали заревой...
По взъерошенной сини
слезинка сползет золотая,
Чтобы в синь обратиться...
И стать золотой синевою...
А когда закричит –
На скрещенье любви и печали 
Сероглазая птаха, безвольно
смежая крыла,
Ты пройдешь стороной...
И меня ты признаешь едва ли...
Но в душе отзовется,
Что боль стороною прошла...

Всё подряд – и хвори, и усталость,
И к погосту странный интерес...
Не беда, что прошлое промчалось,
А беда, что нового в обрез.
Что всё реже слышу сквозь метели
Эту песню робкую твою.

Не беда, что гнезда опустели,
А беда, что новых не совью.
Что среди уныния и гула
Измельчали мысли и дела.
Не беда, что руку протянула,
А беда, что после – убрала...
Что легко вошла, как бритва в масло,
В душу  блетающая медь.
Не беда, что тлевшее погасло,
А беда, что нечему гореть.

Первое августа. Завтра Илья.
Серым дождям ни конца, ни начала.
Сохнет  е высохнет стопка белья,
Что накануне жена настирала.

Лето на позднем своем рубеже,
Сколько Илью ни зовите Илюшей...
И поселяется осень уже
Первого августа в стылую душу.

Значит, мне старые книги листать,
В небе выискивать светлые пятна.
Значит, мне с птицами вдаль улетать,
Точно не зная – вернусь ли обратно?..



Белая буква

(Глава из повести)

О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на двадцатом этаже гостиницы «Лида», приехавший в Белоруссию на международную научно-практическую конференцию писатель Василий Объемов. Современному состоянию русского языка, еще недавно подобно парниковой пленке покрывавшего необозримые просторы СССР, и была посвящена конференция. После ликвидации парника пленка расползлась по разделенному пространству лохмотьями. Изпод них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно-, а в конечном итоге *безъязычия*, прорывались сквозь мутные клочья три отчетливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трусливое бляенье. То были три источника, три составные части доречевого и, получалось, постречевого самовыражения человеческих особей.

Объемова удручало то, что «великий и могучий» ветшал



**ЮРИЙ
КОЗЛОВ**

Проза



и грязнился, как истоптанный коврик, даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока еще не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в темном подъезде, настигали языки-мигранты. Хищный гортанный клетот летел из дворов, состроек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофе-хаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогашался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а, напротив, обдирался как липка, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые желтые когти.

Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывала, душила, держала за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбке, презревшая орфографию и грамматику Сеть. Косяки пользователей плотно застревали в виртуальных ячеях уже цифровой разновидности без-, а точнее извращенноязычия. Там тоже рычали тролли; мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий, фейсбучные стада; испуганно блеял, чуя надвигающуюся беду, офисный планктон.

Компьютерная цифра черной змеей жалила белую лебедь книжной буквицы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в Сети, потому что Сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии – «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» – Сеть вызывающе и нагло копировала небо, совсем как (если верить священным книгам) грядущий Антихрист – Спасителя.

Языки как люди, – задумчиво смотрел в темное осеннее, напоминающее экран выключенного компьютера окно писатель Василий Обьёмов. Когда че-



ловек (народ) полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний луг. На этот луг приходят священные коровы смыслов. Вот только где (мысль, как дурной солдатик на плацу, вдруг сбилась с ноги) скрываются эти самые смыслы, неужели... в вымени? Когда человек (народ) устает, изнашивается, – вернул мысль в строй Объемов, – язык сохнет и колетса, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, пометив его навозными лепешками и брезгливо поджав вымя.

С этого, – решил он, – я и начну свое выступление. Кажется, Горький, – посмотрел в темное окно писатель Василий Объемов, – полагал мерилom цивилизации отношение к женщине. А вот мерилom адекватности государства, – мысленно он уже стоял на трибуне, строго и в то же время доброжелательно (он был опытным лектором) вглядываясь в лица слушателей, – следует считать отношение власти к народу и языку.

Перед Объемовым привычно обозначился неунитожимый (и *неупиваемый*, если вспомнить дружеские посиделки после круглых столов, заседаний и обсуждений, посвященных судьбе России) дискуссионный круг. С середины восьмидесятых, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему как цирковая лошадь. Когда-то – задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас – еле таская сбитые копыта.

Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом (с момента распада СССР) дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей (в смысле определения приемлемого сценария) обреченностью он напоминал дискурс о неотвратимости конца света.

Как будто некие просветленные, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта. В силу очевидного атавистического вырождения (а как еще характеризовать первоначальный, беспощадный к «малым сим», то есть к на-

роду, капитализм?) и дьявольского уродства мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к *природным и трудовым* (определение другого писателя – Глеба Успенского) богатствам тысячелетней России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, тварь эта словно остановила само время, превратила его в клейкий – из костей народа – студень, слегка присыпанный кристаллами образованного сословия – *солью земли русской*. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха.

«Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие» – по такой формуле существовала страна. Однако беда была в том, что у лишенного природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги, а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть – мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то, ожидающим чего-то взглядом, – испытывали к обобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твердо определяли жизнь как деньги и как могли (в основном уродливо и истерично) наслаждались ею, то народ все еще не был готов окончательно смириться с тем, что его, народа, жизнь – это безденежное ничто в мире, где за все надо платить. Бытие, сознание и деньги в России, таким образом, определялись ненавистью.

Правда, народная ненависть вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, длить безденежное ничто. Кажущаяся пассивность, социальная обезволенность народа принималась властью за неисчерпаемую покорность. «Неужели и это стерпишь?» – изумлялась власть, вводя «санитарный» (на пользование унитаза) или «тротуарный» (на из-



нос под ногами пешеходов уличной плитки) налог. «Стерплю!» – бодро, как солдат Швейк садисту-врачу на медкомиссии, отвечал народ.

Никто не знал, когда из куколки народного смирения выпростается огненная бабочка революции. Да и выпростается ли? Вдруг куколка невозвратно окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне?

Марксистская историческая наука основывалась на поступательном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации – от первобытнообщинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму как к пределу мечтаний человечества. Как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении – из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере? Или как клерк, узнавший, что отныне он собственность директора конторы и тот может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу?

Какой, к черту, народ, какой литературный язык, – расстроился Объемов, – зачем я приехал на эту конференцию? Разве только, – посмотрел по сторонам, – узнать, как тут у них, в *предполье* Европы (термин еще одного писателя – создателя теории этногенеза Льва Гумилева), обстоят дела с народом, языком, деньгами и... революцией?

Объемов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан устроителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесет из неосвященных кухонных глубин шустряя черно-волосая, южнославянского обличья буфетчица. Она успела сообщить, что на сегодня был заказан еще и обед, но он его пропустил, поэтому, если он прого-

лодался, ужин может быть усилен (она так и сказала). Прислушиваясь к звяканью тарелок и гудению СВЧ-печи – буфетчица почему-то орудовала в кухне не включая света, – Объемов прикидывал, возможно ли усилить ужин двумя-тремя рюмками водки – хорошо бы в счет пропущенного обеда, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги?

Дело в том, что писатель Объемов приехал на конференцию в Лиду своим ходом – на машине из соседней с Белоруссией деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей, неровно обложенном белым кирпичом бревенчатом доме. От деревни до границы с Белоруссией было двадцать семь километров.

Дом требовал ремонта, но Объемов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом – с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, непросыхающим, чавкающим глиной погребом. Каждый раз, вылезая из пасти погреба, Объемов выносил на галошах (только в них или в сапогах можно было там перемещаться) по килограмму рыжей глины на каждой ноге. В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильотину деятеля Великой французской революции Дантона: «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог!» Можно, мрачно возражал французскому революционеру русский писатель Василий Объемов, еще как можно. И ведь сколько еще Отечества останется в погребе! На миллион сапог, не меньше.

На участке, помимо дома, имелась древняя покосившаяся баня (издали она напоминала черный параллелограмм) под серо-зеленым от наросшего мха и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутой на лоб косматой папахе, угрюмо



высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала, и Объемов иногда парился в ней, предварительно натаскав ведрами в бак над печью дождевой воды.

Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Объемову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, а после снова возвращаться в Москву, а из Москвы – в деревню. Он рассудил, что приехать из деревни – проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Объемова. Он не держал в деревенском доме приличествующей международной конференции одежды. А потому выглядел сейчас как писатель, не только победительно (или пораженчески, большой разницы тут не было) переживающий нищету, но еще и стилистически застрявший в конце девяностых годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившаяся на них свобода, штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гадкая и совершенно неуместная надпись «Sexy boy» украшала футболку Объемова. Он прикрывал ее полкой куртки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчицу, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители.

Объемов не любил суеты, полагал естественным состоянием для писателя одиночество. Вынужденные – под чужую дудку – путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшегося бытия. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное (и, вероятно, пожизненное) ничтожество и одиночество – удел большинства русских писателей в первой половине XXI века. словно сам Господь Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве, обретшего в нем

самодостаточность путешественника страницы огромной, с картинками, живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя (Божественная?) навевала иллюзию, что мир не так уж и безнадежен, что еще не все потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не пропета. Собственно, это и было истинной и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, правильной верой в Бога, потому что больше человеку не во что было верить в его стремительно пролетающей жизни.

Объемов с удовольствием и без спешки (потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал) проехал через всю Белоруссию, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и поселки, пробивающееся сквозь облака, как сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце.

Он слышал, что у России и Белоруссии какое-то союзное государство. Однако могуче оборудованная – в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках, не хватало только собак и колючей проволоки – граница невольно наводила на мысль об *исчисленных* сроках этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражечные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к семилетнему объемовскому «доджу-калиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретенную за семьсот пятьдесят рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку.

Объемов сверял маршрут с картой, уточнял путь у знающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чем-то не сильно серьезном и необязательном. Даже внезапный вечерний, простучавший по крыше машины ледяными пальцами



град на подъезде к Лиде не смутил Объемова, не смазал благостную карту будня. Он легко отыскал гостиницу – она находилась в центре города на берегу озера, напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведенной краснокирпичной крепости с башнями, – поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметил на ресепшен, отнес сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер.

После чего отправился ужинать в кафе на двадцатый этаж, где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягивающих (не по возрасту!) коротких черных брючках. У нее был выпирающий уютжком живот, которым она, хлопоча вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Объемова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим уютжком. Ладно, выпьем водки, – рассудил Объемов, – а там видно будет.

Он давно заметил, что зрелые, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе, порноглубинах Интернета, женщины (а буфетчице, точно, было за пятьдесят) часто становятся странно и, на первый взгляд, немотивированно экзальтированы даже в абсолютно ничего не обещающем, бытовом, можно сказать, внеполовом присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже внеполовом склоне лет женщины за пятьдесят фантазируют и мечтают, как девочки, только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона.

Самый искренний, вдохновенный, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви Объемов услышал (невольно) много лет назад в... дощатом, разделенном на две секции «М» и «Ж» сортире в деревне Костино Дмитровского района Московской области. В этой нечер-

ноземной глуши он трудился летом в строительном отряде. Была такая практика в СССР – в обязательном порядке отправлять студентов после первого курса на *стройки пятилетки*. Кому выпадал героический БАМ, железная дорога Тюмень – Сургут, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, а вот юному Объемову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного, с васильками и жаворонками поля.

Помнится, как-то ночью он задумчиво курил, устроившись на корточках над очком в секции «М», смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звезды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса, в соседней секции «Ж» ударила дверь.

«Я его люблю, люблю! Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье – просыпаться утром и знать, что он есть! Я сразу начинаю думать о нем, что он сейчас делает, с кем разговаривает. Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто все время со мной! Весь мир – это он! А когда он идет навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть, – знаешь как бухает сердце? Я... не знаю, как раньше жила, когда не знала, что живет на свете такой человек... Славка». – «Да, Мань... – неопределенно отозвалась подруга. – А сам-то он как?» – «Не знаю, Нин, он есть – и все, больше мне ничего не надо!»

После чего отвлеченный от созерцания звезд Объемов услышал мощный фыркающий шум (видать, девушки хорошо напились за ужином чая), фразу: «Черт, надо же, труссы перекрутились», удар двери и рассыпчатый затихающий топот. Он, естественно, узнал влюбленную ночную посетительницу дощатого заведения – комсорга их группы. Знал Объемов и «человека Славку» – мрачного, не по годам пьющего, сутулого паренька в неснимаемых очках с выпуклыми стеклами. Он был удивительно молчалив



и не улыбочив. Угреватое, словно посыпанное перцем, лицо его оживлялось, только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был *всегда готов*, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный бэкграунд Маши (кажется, она была из Липецка), Объемов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Разве только если в солнечный день смотреть ему в очки как в увеличительные стекла...

Неужели, – он поискал взглядом юркнувшую, как мышь в нору, в кухонный сумрак буфетчицу, – я сейчас... выступаю в роли Славки? По части выпить – точно. А вот по части любви... Объемов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему, по причине неизбывного одиночества, наблюдать было не за кем. Интересно, есть в кухне... туалет, – подумал Объемов.

Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, он сделал вывод, что гостиница не переполнена постояльцами. Предполье Европы определенно не казалось привлекательным для разного рода искателей лучшей жизни и западной толерантности.


Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к кофте бейджем «Каролина». Объемов сначала подумал, что это название гостиницы, да потом вспомнил, что гостиница называется «Лида». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала усилить ужин водкой, но за стойкой, выбирая, из какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объемов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами.

– Тогда я вам... от души налью, – обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки с усиленным ужином.

– Я столько не съем, – предупредил Объемов.

Похоже, неостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные и сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в пленку, как в прозрачные доспехи, сосиски приближались к исчерпанию срока годности.

А, собственно, что здесь такого, – расправил плечи писатель Объемов, – каждый мужик хоть раз в жизни побывал Славкой, а некоторые – так... (он подумал про брачных аферистов) много-много раз. Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед его глазами замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских порнохабов. При чем здесь это, ужаснулся он.

Вдруг я ей просто понравился, – оторвался от неуместных, абсолютно, как давние мечтания комсорга их группы в секции «Ж», не связанных с реальностью видений Объемов, с отвращением посмотрел на свою дремучую – когда успела выгореть на солнце?  куртку. Предложение усилить ужин водочкой в счет пропущенного обеда даже с присовокуплением двухсот российских рублей вряд ли могло усилить симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключаящей всякие романтические иллюзии куртке. Однако бесповоротно смириться с этой мыслью не позволяли остатки мужского самолюбия.

Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно неперспективен по всем направлениям. Разве только (тут включилось писательское воображение: оно почему-то неизменно работало у Объемова в режиме изначального, на грани шизофрении, недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал любых, в том числе труднообъяснимых с точки зре-



ния здравого смысла, мерзостей) она... хочет меня отравить. Зачем? А в экспериментальном порядке: возможно, ей надо кого-то отравить, а на мне проверит действие яда...

Писательское воображение было весьма изобретательно – как сталинских времен следовательно в поисках доказательств *несуществующего* заговора. Но без него жизнь Объемова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а чего угодно), точнее, существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объемовского несуществующего. Это была персональная беда Объемова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания читателя как мячики и улетали неизвестно куда.

Бред!

Надо быть добрее и проще, – вздохнул Объемов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена: *«Если ты увидел человека и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?»* Примерно так. Тем не менее воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения, не реагирующий на кнопки компьютер. А может, так? *Если ты встретил буфетчицу и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?*

Гарантии не было. Был закон больших чисел. В соответствии с ним подавляющее большинство буфетчиц честно (насколько это возможно в их профессии) делали свое дело, не являясь последовательницами Екатерины Медичи.

Выходило, что не столько усиленно ужинающий Объемов, сколько Каролина следовала совету (пока

что насчет поговорить) великого американского поэта, о существовании которого она наверняка понятия не имела. И, скорее всего, не следовала другому – в духе Екатерины Медичи – коварному плану (насчет отравить).

Но это уже были детали. Они показались Объемову совершенно малозначащими, после того как он молодецки хлопнул стопку водки и закусил кисленькой (явно перегостила в укусе) селедкой с лучком. Тут же истаяла, как будто ее и не было, мысль об отравлении. Я идиот, – привычно констатировал писатель. Самокритичное признание не вызывало у него никакого душевного дискомфорта.

Наливая вторую рюмку, он вознамерился пригласить к столу весело порхавшую за стойкой буфетчицу. Однако не успел, потому что в кафе заглянул неопределенного возраста господин с широкой, но короткой бородой, напоминающей истрепанную щетку на деревянной ручке, которую он как будто недовольно держал в зубах. Тоже на конференцию, дружественно (он и ему был готов предложить выпить) посмотрел на господина Объемов, отметив братскую потертость его плаща и непрезентабельность ботинок на толстой подошве. Тот, мазнув злым взглядом по столу, сухо глотнул, дернув рубильником кадыка на горле, и вышел из кафе, чуть сильнее, чем требовалось, захлопнув за собой дверь. Молодец, завязал, – вздохнул Объемов, – а я вот никак...

После второй рюмки буфетчица и вовсе представала грациозной, доброжелательной бабочкой, почти что ангелом, снизошедшим с небес по его грешную душу. Это было необъяснимо, но Объемов уже не возражал быть отравленным. Только... чтобы без мучений. По эвтаназийному, так сказать, варианту. Иногда собственная жизнь казалась ему исключительной ценностью и он был готов защищать ее всеми имею-



щимися в его распоряжении средствами. Иногда же, например, как в данный момент, после двух рюмок водки, в городе, где он никогда прежде не был, в обществе дамы, которую никогда прежде не видел, он был готов легко расстаться с жизнью. Объемов сам не вполне понимал столь резких перепадов в своем отношении к священному и бесценному дару Божьему. Должно быть, его измученное, генерирующее ненужные массовому читателю смыслы и образы сознание определялось еще чем-то, помимо бытия. Быть может, такой вот внезапно-пронзительной (или пронзающей) алкогольной ясностью. Мир как будто ужимался в точку, а безмерно заострившаяся мысль Объемова упиралась в эту точку как копьё. Однако же, упершись в истину (во что же еще?), копьё всякий раз ее калечило, превращало в какого-то жалкого уродца, от которого брезгливо отворачивались нормальные люди. Массовый читатель, чьей любви он алкал, вдруг увиделся ему в образе того самого Славки, в которого безнадежно была влюблена комсорг Маша в деревне Костино. Объемов мучительно вглядывался в угреватое, тупое, в выпуклых очках лицо массового читателя, и ненависть слепила его, потому что он понимал: ничто не заставит это существо взять в руки его, писателя Василия Объемова, книгу. Славка никогда не полюбит Машу.

Копьё в очередной раз сразило истину. Вместе с ней в бубновое (прихоть плотника) очко дощатого сортира с шумным фырканием устремились мечты Объемова.


Вслушиваясь в льющуюся, как... вода из крана (возвысил над бубновым очком сравнение Объемов), речь буфетчицы, он подумал, что жизнь, в сущности, прожита. Он написал все, что хотел, точнее – что смог. Славы (Объемов не уставал изумляться величию и могуществу русского языка, играючи отвечающего

на все задаваемые и незадаваемые вопросы) не было и не будет. Впереди то же, что и сейчас: одиночество, болезни, безденежье и тоска. А еще – изумление перед непреходящей лживостью и мерзостью мира, от которого он тем не менее ждал признания, потому что признание являлось одним из условий существования пишущего человека как неотъемлемой, но почти всегда отпавшей частицы словесного стада.

Только признания быть не могло. Словесное стадо двигалось динозавровым путем к концу времен, подсвечивая дорогу светящимся маячком айфона. Оно решительно не замечало путающегося под ногами писателя Василия Объемова. Ледокольного таланта, чтобы взломать мир, вывести человечество на чистую воду, Господь ему не дал. Таким преобразившим мир талантом обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным – но внутри другого, земного измерения – талантом обладал Сталин, преобразивший Россию наказанием. Как иначе можно расценивать многотысячные лимиты на выявление и уничтожение врагов народа, спускавшиеся в конце тридцатых годов из центра на места? Злые семена падали на подготовленную почву. От местных агрономов потоком шли требования увеличить квоты. А что, если, – привычно травмировал истину копьём Объемов, – это и есть... высшая справедливость? Сказано же одним из апостолов: *нет наказания без преступления!*

Вот почему, – успокоился Объемов, – литературе не дано перевернуть мир. Ей дано выродиться. Путь ее – от жгущего сердца людей глагола к веселящему зажавшегося обывателя-потребителя комиксу. Однако я, – гордо расправил плечи над столом с закуской и остатками водки в графинчике, – отказываюсь следовать этим путем! Господь дал мне талант тихий, лепечущий, носимый ветром над неясными смыслами, одним



словом, не замечаемый миром талант. Я могу писать что угодно, но в вакууме, в темной душной пустоте – там, где слова и мысли складываются, как тюки войлока, до лучших (или худших) времен. Скрывая меня в неизвестности и ничтожестве (Объемов ощутил размягчающее, предшествующее слезам тепло в глазах), Господь протирает надо мной сберегающую руку, которую я, как вздорная собачонка, пытаюсь... тяпнуть. Что же мне остается, – тупо уперся он взглядом в графинчик. Недостойная возраста суета, гневные статьи на полуживых оппозиционных сайтах, редкие поездки по зачищаемому от русского языка, некогда общему литературному пространству. Когда не находится (он отдавал себе в этом отчет) более именитых и известных авторов. Или когда эти авторы ставят условия, какие организаторы мероприятия не могут выполнить. Не имеющее исхода ощущение проигрыша, – мрачно подвел он итог тому, что остается. Страх даже не перед своим, а коллективным – вместе со словесным стадом – будущим, перед неотменимой катастрофой, от которой не убежать, не спрятаться, потому что она по душу и тело каждого. А там... *за точкой*, – заинтересованно смерил уровень водки в графинчике, – благословенная тишина, покой, абсолютное, то есть неподвластное времени и вирусам, вечное здоровье в земле или в урне с пеплом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце переживаний, а главное, упоительная свобода от собственной принадлежности-отъединенности к (от) словесно-телесному(го) стаду(а). Там то, что выше и первичнее... всего, что было до моего прихода в мир и пребудет в нем после. *Великое отсутствие* – так Объемов определил извилисто, как дождевая капля по стеклу, скользящую, но никогда ни от кого (и ни от чего) не ускользающую точку. А вот водочка, – с грустью посмотрел на графинчик, ускользает  еще как ускользает...

Объему стоило немалых трудов преодолеть магнитное, точнее, вселенско-гравитационное притяжение точки, вернуться в реальность, вникнуть в то, что говорила буфетчица. Она сыпала слово как крупу в сухую кастрюлю, говорила на русском, но каком-то особенном, как бы уже и не вполне русском языке. Это был упрощенно-технический язык-передвижник, язык-переселенец, язык-выживало, помыкавшийся в новых государствах, ободранный недружественными границами, обтертый пластиковыми сумками с бараклом и продуктами, сточенный в оптово-ярмарочных, автобусных, вокзальных, таможенных, полицейско-миграционных и прочих терках. Впрочем, он еще хранил фантомную память о советских школьных уроках литературы, прочитанных отрывках из хрестоматии, заученных в далекие пионерские годы стихотворениях. Он давно шел (куда?) своей дорогой, однако еще тянул за собой исчезающую тень СССР, где все были хоть и скромно, но равно обихожены государством и никому (разве только носителям пресловутого пятого пункта) не были закрыты пути вперед, а если удачно сложится, то и наверх...

Вдова офицера-летчика. Шестнадцать лет назад – уже при *Батьке* – муж разбился на истребителе. Только-только присвоили майора. Второму пилоту приказал катапультироваться, а сам до последнего пытался спасти машину. Самолет упал на поле с подсолнухами, никто внизу не пострадал. А мужа... не нашли – как и не было его в кабине. Сказали, – всхлипнула, – он, как это... аннигилировался, то есть бесследно испарился. Манекен из магазина одели в форму, на лицо положили фотографию в рамке, похоронили с почестями. Ольга Ильинична, наша клубная библиотекарьша, нагнулась, чтобы фотографию поцеловать, да как-то неловко, сбила, а там манекенная морда с кретинской такой подленькой улыбочкой, словно



что-то знает, да никому не скажет. Какая-то в том полете испытывалась секретная, биогравитационная, что ли, установка. От СССР осталась, не успели в Россию увезти. Ну а наши взялись испытывать. Вроде бы самолет должен был сделаться невидимым и перенестись через время и пространство куда намечено. Она была запрограммирована на самоуничтожение, если что. Вот мой Лешка и... самоуничтожился. Еще подписку о неразглашении взяли, сволочи!

Объемову как-то некстати припомнились рассказы о похищении Гагарина инопланетянами, телепередачи о неопознанных летающих объектах. Буфетчица, похоже, входила в состояние психоза, как в древнегреческую реку, в которую якобы нельзя войти дважды. В реку – нет, а в психоз – сколько угодно. Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объемову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны приглашающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них, как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали... где?

...Представили посмертно к герою республики, – продолжала буфетчица, не позволяя Объемову однозначно определить, где она – в коридоре или в пространстве за винтовыми ушастыми дверями, – но дали только орден за мужество. Здесь, под Лидой, самая современная советская авиабаза. К каждой взлетно-посадочной полосе подведен под бетоном топливный терминал, чтобы сразу всем взлетать без задержки. Такого нигде в СССР да и в Европе не было. До НАТО за десять минут могли долететь. Говорят, Путин сейчас просит у Батьки в аренду, а тот упирается, потому что Европа не разрешает. Сказали, санкции снимут и визы для белорусов отменят, если Батька откажет. А по мне, так лучше бы пустил: скольким

людям нашлась бы работа. Тут и запчасти делали в мастерских по ремонту, и свое хозяйство со свинофермой имелось. Раньше вокруг жизнь была, а теперь только два предприятия работают – лакокрасочный завод и комбинат химудобрений. База пустая стоит, пока охраняется, а офицерский городок разобрали на блоки в конце девяностых. Теперь там лес, грибов много. С грибами ведь как? Год на год не приходится, а там всегда. Подосиновики, белые, а по осени рыжики. Она и солит, и маринует, только есть некому...

– Хотите, завтра принесу? – предложила буфетчица. – Вы ведь здесь будете обедать?

– Не знаю, – пожал плечами Объемов. – Я еще не смотрел программу.

– Принесу, – как о деле решенном сказала буфетчица. – И с собой дам банку, куда мне их девать?

– Всегда есть куда. Родственникам, детям, – посоветовал Объемов.

...А она одна здесь живет. Дочь в Одессе, у нее семья, своя жизнь, работала в фирме по установке домофонов, недавно сократили. Зять – водила, упертый хохол, и раньше злой был на москалей и жидив, а после Крыма совсем озверел. Живут плохо, на четверых – у них двое детей – меньше семи тысяч гривен выходит. Если бы он курятину из фур ящиками не таскал, вообще бы голодали. Она здесь, в Лиде, через день работает – и то получает почти четыре тысячи. Хотя там у них все дешевле, а здесь уже почти как в Европе. До Польши час езды, Литва вообще под боком. Народ туда-сюда снует. Бензин, правда, в Белоруссии дешевле, но его только две канистры разрешают, хорошо, если на обратную дорогу хватит, не по два же евро за литр брать.

В речь буфетчицы, как цветная тесьма в косу, вплелись белорусские и украинские слова. Объемов обратил внимание, что она, хоть и живет в Белоруссии, почему-то оценивает уровень достатка в гривнах и евро,



а не в белорусских или российских рублях.

...Последний раз к дочери и не заезжала. Сразу в Умань, там дом, где она жила в детстве. Раньше деревня была, гуси траву щипали, везде цветы, а теперь городская окраина – ни цветов, ни гусей. Мать и отец померли, а дед живой, восемьдесят пять, в разуме, не болеет, сам о себе заботится. В магазин ходит, баню топит, две теплицы держит на огороде. Руки золотые, всю работу по дому делает. Следит за собой: бороду подстригает, волосы из носа, чтобы как клыки не торчали, дергает, пятки напильником трет – потом весь пол белый, как в муке. У него две пенсии: от хохлов тысяча триста гривен и еще от немцев двести пятьдесят евро – за то, что работал в оккупацию на их продуктовом складе, а потом в нашем лагере сидел. Она в этом году почти все лето у него жила. Дед – молодец! До сих пор курит, самогон пьет, книги читает. Телевизор вообще не смотрит, не держит дома телевизор. Раньше смотрел, а однажды вынес в огород и... из ружья прямо в экран. Участковый приходил: чего, дед, хулиганишь? А он: лучше так, чем по-настоящему, пусть эти, которые там мордами светят, живут, а телевизор не жалко. Она хотела новый, плоский купить, скучно вечером – он не разрешил. Сказал, лучше книги читай. А она от книг давно отвыкла. Какие книги, когда такая жизнь? К новым не подступишься, самые дешевые, как бутылка водки, а старые – про людей, каких уже нет. Может, только этот, который топором старуху зарубил, остался и... размножился. Каждый второй сейчас такой – зарубит и не чихнет. Дед как мужик, наверное, еще... способен. Ходит одна к нему, шестьдесят пять, худенькая такая, чистенькая, губки в ленточку, носик остренький, в очочках, в школе завучем работает. Никак на пенсию не выпрут: некому в районе детишек учить. Якобы за старыми журналами, у деда

в подвале подшивки «Роман-газеты», когда-то выписывал. Лохматые такие: когда наводнение было, подвал подтопило. Просушил, не выбросил. Я ему: дед, я тебе не сторож, только не вздумай этой указке ничего отписывать – убью! Она к тебе не за журналами ходит! В них мыши туннели прогрызли, хоть метро запускай! У нас чернозема сорок соток! Евро он тоже не тратит, копит на счете. К нему летом немецкие журналисты приезжали, на камеру снимали: он последний остался в Умани, кто видел Гитлера, когда тот в августе сорок первого по рынку ходил. Еще Муссолини был, но тот помалкивал, видать, чуял беду. Дед и его запомнил: глаза, как черносливы, лобастый, губастый, как бык, челюсть лоханью.

– Какой еще... лоханью? – с трудом выпутался из липкой словесной паутины Объемов.

– Какой-какой, – недовольно пробурчала буфетчица. – В какой новорожденных поросят купают!

– А их... разве купают? – растерянно спросил Объемов.

– У нас – нет, – отрезала буфетчица. – Немцы привезли, приказ на ферме вывесили: за грязных поросят – расстрел!

– Это... Гитлер на рынке объявил?

Некоторое, даже противоестественное, уважение к фюреру немецкого народа, мгновенно ухватившему быка за рога, с математической точностью вычислившему формулу приобщения неарийского населения на занятых вермахтом территориях к традициям европейского животноводства, ощутил писатель Василий Объемов. И только потом до него дошло, что буфетчица порет дикую чушь.

– Какой Гитлер? Какой рынок? Что он там делал?

– Ходил, смотрел, с народом общался. Дед сказал, что переводчик переводил, высокий такой, зуб из-под



фуражки, как пена, и с царским Георгиевским крестом на кителе: дед определил, потому что его отец в первую германскую воевал, у них два таких же в красивой коробке из-под царских еще конфет вместе с документами лежали. «Русалка» назывались, я в эту коробку свою любимую куклу Бусю спать укладывала, думала, что ночью русалка со дна морского конфеты пришлет и хоть Буся их попробует. Наверное, из казаков-белогвардейцев был переводчик. Но дед и без переводчика все понимал: у него в школе учительница была из колонисток, ее сразу, как война началась, наши арестовали. Гитлера на аэродроме уже «юнкерс» ждал, генералы под крылом выстроились. А он увидел людей на площади, велел задержаться, прошел по рядам, посмотрел, чем торгуют. Подсолнухи его заинтересовали: там одна баба огромные, как тазы, подсолнухи (в тот год урожай был бешеный, никогда больше такого не было) меняла на сахар. Советские деньги уже не ходили, немецких еще не было, а румынские люди брать не решались – не знали, что это за деньги такие. А дед, ему тогда десять лет было, на мешках сидел. Баба, когда в туалет приспичило, туда его посадила, чтобы вроде как присмотр был. Волосы светленькие, глаза голубые, любопытные, смысленый, наверное, был парнишка. Она Гитлеру сразу мешок хотела с перепугу всучить, но тот не взял, сказал только, что никогда таких больших не видел. Здесь земля, – переводчик перевел, – как музыка Вагнера. Потом Гитлер деда на мешках приметил, потрепал по голове, сказал: запомни, пацанчик, этот день. Долго будешь жить, увидишь новый мир, за который мы сражаемся, вспомнишь меня... Как в воду смотрел, – задумчиво добавила буфетчица.

– В какую... воду? – запнулся Объемов.

– Я про новый мир, – хлопнула глазами буфетчица, – который сейчас.

– За этот мир Гитлер не сражался, – возразил Объемов. – Он бы точно ему не понравился.

– А что дед будет жить долго, угадал, – быстро нашлась буфетчица.

Похоже, она не сомневалась, что любые произнесенные слова автоматически, на лету наполняются смыслом, а поэтому не имеет большого значения, какие именно слова вылетают у нее изо рта.

– Тут не поспоришь, – развел руками Объемов.

Он вдруг засомневался в существовании уманского деда. Частицей ландшафта стремительно меняющегося мира показался ему загадочный дед. Белоруссия уже не Россия, а наследница Великого Литовского княжества, той самой *Белой* (европейской) Руси, которую кроваво и тупо задавила Русь *черная*, московская, татаро-монгольская и угро-финская. Украина ревет и стонет от ненависти к России. Европа – в маразме, мигрантах, толерантности и отказе от христианской веры. А Гитлер... Гитлер, конечно, душегуб, злодей, преступник номер один, как справедливо указывали советские историки, но ведь и к нему сейчас отношение меняется. В Прибалтике, например, или на той же Украине... И про Румынию он что-то такое читал. Уманский дед, – подумал писатель Василий Объемов, – сродни тыняновскому поручику Кижее или товарищу Огилви из «1984» Оруэлла. Эти персонажи – не из текущей жизни. Они фантомы жизни новой и страшной, которая в данный исторический момент замещает привычную текущую, давит и месит ее, как скульптор глину. Однако не стал делиться с Каролиной сложной и спорной мыслью.

– Ленин тоже, – почти весело подмигнул ей Объемов, – в воду смотрел, а что видел?

– Что? – растерялась буфетная дама.

– Коммунизм! – назидательно произнес писатель.

– А где он?



– Где? – Она, как изваяние, замерла над его головой с пустой тарелкой в руке.

– Там же, где и тот мир, за который сражался Гитлер, – многозначительно понизил голос Объемов. – Нигде и... везде! – осторожно увел голову из-под летающей тарелки.

– В Умани возле кино «Салют» стоял памятник Ленину, – легко, как черная бабочка, перелетела с Гитлера на вождя мирового пролетариата буфетчица. – Сломали. Только нога в штанине как кочерга осталась торчать. Ботинок в желтый потом покрасили, а штанину – в голубой. Голову лысую в парк, в павильон ужасов, откатили.

– Не повезло Ильичу.

Объемову вдруг сделалось как-то тревожно. Как и всегда, когда он слышал то, что не хотел слышать, или был вынужден говорить о том, о чем не хотел говорить, но о чем постоянно и безытогово думал.

– И Гитлеру тоже.

Зачем я это сказал, расстроился Объемов, почему я все время об этом думаю, с кем... вообще разговариваю? Наверное, так было в сталинском тридцать седьмом. Люди не смели говорить о необъяснимых репрессиях, да только, о чем бы они ни говорили, они по умолчанию говорили о них. Ему вспомнился школьный физический опыт, когда на пластинку сыпали железную пыль. Ее можно было сыпать как угодно, но когда пропускали ток, пыль мгновенно укладывалась в один и тот же, напоминающий совиную морду рисунок.

Казалось бы, ничто (кроме алкоголя) не могло сблизить (ментально) русского писателя Василия Объемова и неизвестной национальности буфетную даму по имени Каролина. Однако дама была абсолютно трезва, да и Объемов выпил пока что весьма умеренно. Стало быть, не алкоголь, а невидимое на-

пряжение нового (совиноного?) мира воздействовало на пыль произносимых Объемовым и Каролиной слов. Совиная морда угрюмо смотрела на них с пластинки нового мира.

Объемов допускал, что Гитлер превратился в миф, что он, как и Сталин, по мнению генерала де Голля, *не умер, а растворился в будущем*. Хотя Объемов сильно сомневался, что де Голль это говорил. Сомневался он и в подлинности знаменитого, как будто списанного из монолога Петра Верховенского в романе «Бесы» Достоевского, плана Даллеса по поэтапному уничтожению России. Или цитируемого на застекленных уличных стендах (в преддверии выборов) умозаключения Бисмарка, что Россию одолеть военным путем невозможно, победить ее сможет только внутренний враг. Даже если Бисмарк ничего подобного не произносил, в данном изречении, по мнению Объемова, заключался глубокий конспирологический смысл. Потенциальному избирателю предоставлялся шанс самостоятельно определить – не сам ли этот внутренний враг победительно и не таясь декларирует свои намерения, принимая потенциального избирателя за конченого идиота? Гораздо большее доверие вызывала другая (подтвержденная) цитата «железного канцлера»: *«Россия опасна мизерностью своих потребностей»*. По воле управляющего ею внутреннего врага, – творчески дополнял цитату Объемов.

Но все равно странно было рассуждать на эту тему с малосведущей в историко-политологических изысканиях буфетчицей, в независимой Белоруссии, спустя без малого семьдесят лет после смерти фюрера немецкого народа, истребившего в этой самой Белоруссии, кажется, треть населения.

А может, очень даже не странно, – подумал Объемов. Миф обретает необходимую для преобразова-




ния действительности динамику именно тогда, когда спускается с выморочных научных высот в пышущую живой глупостью и жизненной силой толщу масс. Они или реагируют на него, начинают, как брага, пузыриться и бродить, чтобы затем взметнуться в революционно-военный змеевик (это неизбежно) и сцедиться по капле в новом качестве в подставленную посуду, или отвергают, точнее, не вступают в реакцию, оставаясь в первозданной, с библейских времен определенной как труд и повиновение управляемой тишине. Временно не востребуемые массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств Интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они везде и нигде.

Объемову не нравилось будущее, где растворенные Гитлер и Сталин были готовы материализоваться подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. В нестихающих диспутах о судьбе России Гитлер был темным, как ночь, как дым из концлагерной трубы, кристаллом, а Сталин незаметно, но упорно напитывался белокрылым ангельским светом. Объемов сам видел в одной кладбищенской часовне икону с «отцом народов». Генералиссимус, втоптавший церковь в пыль, так что она до сих пор не могла отряхнуться, кощунственно стоял в рясе, рядом с Богоматерью, угрюмо уставившись на оробевшего младенца Христа.

Наверное, внутри соляного раствора в очереди на кристаллизацию скрывался и Ленин. В данный момент Ильич пропускал вперед Гитлера и Сталина, но это была очередь без порядковых номеров. Фюрер и «отец народов» были понятны и (каждый в свое время) бесконечно любимы массами, в то время как Ленин... Способны ли вообще массы, то есть малые сии, без понуждения понимать и любить человека

с собранием нехудожественных сочинений в пятьдесят четыре тома? Даже если этот странный человек задался неисполнимой целью превратить малых сих в больших? Сделать тех, кто был никем, – всем. Новый (совиный) мир стремился к простым, как смерть, в духе Гитлера и Сталина, решениям, а потому Ленин с его беспокойными мыслями об электрификации, коммунизме, отмирающем государстве, главное же, о том, что делать и кто виноват, был сове, как говорится, мимо клюва.

Однако как-то эти три кристалла таинственно взаимодействовали, возможно, предуготовливая рас твор к переходу в новое, неизвестное человечеству качество. Объемов склонялся к мысли, что это будет всерастворяющая существующий мир кислота. Призрачная кристалльно-кислотная совиная тройка пронеслась, шелестя крыльями, перед его испуганным взором и растворилась в темных законных белорусских небесах. В ночи и в водке, – наполнил очередную рюмку Объемов.

Все-таки не молдаванка и точно не белоруска, – подумал он, закусывая белой от уксуса селедкой, про взявшуюся протирать за стойкой пивные стаканы буфетчицу. Точно – украинка. Наверное, из Галиции, там много Каролин. За такие воспоминания ее бы зацеловали на Майдане. Сколько, она говорила, было годков в сорок первом мифическому деду – десять? Ему бы в пионеры-герои, а он – под юбку к бабе, меняющей подсолнухи на сахар. Где он всю войну работал – на немецком продуктовом складе? Значит, не голодал! И силушку сберег, если к нему очкастенькая завуч – губки в ленточку – бегаёт, и пенсию от Меркель получает! Парень не промах! А что телевизор в огороде расстрелял и подшивки «Роман-газеты» хранит – это... правильно, наш человек  к-то сбился с мысли Объемов.



– Дед с немцами, которые фильм снимали, по Умани ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему пятьсот евро заплатили.

– Мало! – возмутился Объемов. – Кто живого Гитлера видел – по пальцам пересчитать, сколько их осталось?

Он вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды (и не через вторые руки, как сейчас, а напрямую) общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему свое общество.

Зачем?

Писателю Василию Объемову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут. Они отрастали вполне естественно, как хвост у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как хвост и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде *голового короля в новом формате*. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому – в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объемову доводилось читать немецкие листовки времен Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу

тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же, как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто одетым, а кто вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, новый мир.

Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки.

На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в нее, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про *триумф воли*. И вообще, они хотели добра, а Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.

На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) опустил Германию, превратил в дойную корову для новой объединенной толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.

На русском: Сталину нет и не может быть прощения за то, что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая свинья не могла просунуть рыло в его социалистический огород. Однако войну выиграл не Сталин, как главнокомандующий, и не русский, а обобщенный, проживавший на территории тогдашнего СССР советский народ. За что теперешний, опять же обобщенный, но уже российский народ ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР.



А больше ни за что не благодарен, потому что все остальное – рабство и позор!

– ...А потом он посмотрел в небо на самолеты, которые летели над Уманью бомбить Киев, – буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, свесившиеся набор, как петушиный гребень, салфетки, – и... Но это, – приложила палец к губам, – тайна!

– Кто?

Объемов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшая, причем опасно сумасшедшая. С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они – невидимо горящие под ногами торфяники. Все спокойно, и вдруг почва проваливается и привычная жизнь летит в огненную пропасть. Чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Белоруссии, которая еще недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере... Надо сматываться.

Но в графинчике еще оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности. Интересно, подумал Объемов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она... разъярится или, наоборот, сникнет?

Не угадал. Буфетчица, качнув затынутыми в черные штаны бедрами, как сдвоенным маятником, скрылась в кухне, напевая себе под нос. До Объемова донеслись слова «ридна», «кохана» и, кажется, «дивчина».

Наверное, это я сумасшедший! Он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно – до последней капли – вылил водку в рюмку. Какое мне дело, что сказал в Умани Гитлер, если я точно знаю, что это бред! Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам! Объемов ни к селу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык и будто бы даже одна девушка во Фран-

ции родила от него сына, которого он, правда, так и не увидел, потому что в восемнадцатом году немецкие войска покинули Францию... Странно, что потом, когда они туда в сороковом году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя, казалось бы... А что, если и в Умани... ходил, ходил по рынку, а потом шасть к подсолнуховой бабе...

Графинчик в руке Объемова играл на свету, искрился рубчатými боками. Как граната, – усмехнулся про себя, – особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики (хорошо, если в стены, а не в пьяные хари), не могли не летать. «Гитлер в Умани» – отличное название для пьесы, все действие – на рынке среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свинными, бычьими и бараньими головами (образы народов) на прилавках. С жужжащими то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями – лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа: Гитлер, переводчик из белых казаков, баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку... Каждый про свое. Гитлер – про новый арийский мировой порядок. Казак-переводчик – про великую и неделимую Россию. Баба – про мужа, детей, коллективизацию и *голодомор*. Мальчишка – про... что? Про Украину, так сказать, сердцем воспринявшую спустя семьдесят лет... Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после Великой Победы, про конец СССР, про эту... в очочках, у которой губки ленточкой, про то, что у него все еще *встает*, про немцев, которые приедут в Умань через семьдесят лет снимать фильм о... тебе, Гитлер! А в финале – короткие монологи голов (народов), что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолну-



хов – как у древних греков: воля богов, мимесис, рок, фатум, судьба!.. Но кто поставит, какой театр возьмет? Сволочи!

— Что сказал Гитлер? – грозно спросил в кухонное пространство Объемов, потрясенный величием внезапного драматургического замысла.

Он был похож на взметнувшийся посреди пуштоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объемов обретал мгновенную же уверенность в себе.

– Он сказал: «Es ist noch zu früh», – донеслось до него сквозь шум туго бьющей в металлическую раковину струи воды.

– «Еще... рано»? – мобилизовав все свое случайное знание, точнее незнание, немецкого языка, неуверенно перевел Объемов.

– Ja, genau so¹, – подтвердила буфетчица.

– А ты... откуда знаешь немецкий? – растерялся Объемов.

– За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге, – усмехнулась она, – научилась. Я, кстати, в Ильичевске пищевой техникум с отличием окончила! Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что... можем.

– Рано... Что он имел в виду?

– Понятия не имею, – сухо, без прежней доброжелательности, скрипуче, как если бы двигала по полу стол, ответила Каролина. – Он не уточнил. За что купила, за то и продаю. Он долго в небо смотрел. Может, что самолеты рано полетели, а может, – добавила совсем мрачно, – что-то услышал... оттуда, понял, что поспешил.

– Однако людей не насмешил. Спасибо! Было очень вкусно. – Объемов выпил на посошок, выхва-

¹  точно так (нем.).

тил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы. – Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен?

Он снова перешел с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними уитменовская близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской (три года на сухогрузах), сухопутный (сортиры в Лейпциге), воздушный (вдова пилота) – трехстихийный! – бэкграунд буфетчицы придавил Объемова, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. Я что-то выдумываю, мучаюсь, вздохнул он, а бестселлеры... Они, как жизнь, везде. Пусть даже это странная жизнь после смерти, как сейчас в этой... Умани. Нет жизни – нет бестселлеров! Но разве не имеет права на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, да, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан.

– На боковую?

Буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась, блестя черными вороньими глазами, у стола, из-за которого только что поднялся Объемов. Что ей Гитлер, с неожиданной тоской подумал Объемов, да ее бы... с такой-то внешностью в первый же день в ближайший концлагерь! Хотя Одессу, кажется, держали румыны.

– Не знаю...

Он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизнь, циферблате.

– Я бы прогулялся по городу, но дождь...

– В дождь хорошо спится. – Она начала собирать на поднос пустые и непустые тарелки. (Объемов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому вине-



грету и к куриному рулету в желе, как в желтом увеличительном стекле.) – Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати... – Буфетчица произвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой.

– Да? – ответно и тоже произвольно зевнул Объемов.

Дарвин прав, успел подумать он, щелкнув челюстью, человек, точно, произошел от обезьяны. Он понимал, что надо уходить, и почему-то медлил, более того, мелькнула мыслишка, а не махануть ли еще на сон грядущий водочки? Как она сказала – в дождь хорошо спится? Спится или спиться? Какая, в сущности, разница?

– Устаеа на работе? – с неискренним участием поинтересовался он.


– Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день, посетителей мало. Сегодня вообще вы один. Не в этом дело.

– А в чем?

– В том, что спать интереснее, чем жить.

– Как это?

Объемов чуть было не уточнил: «С Гитлером?» Но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип: если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи. Это спасало от многих возможных неприятностей. Хотя и не всегда. Молчание было свободно (в любую сторону) конвертируемой валютой.

– А вот так, – ответила буфетчица. – Во сне я... живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми. То в Одессе, то в Витебске, то вообще...  здохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с вишнегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом, – в Париже, – призналась почему-то шепотом. – Я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить – не получилось. Шапирюзу – мою напарницу (мы тогда в Лейпциге, в парке

«Белантис», где египетская пирамида, работали) сомалийцы изнасиловали в сортире. Он на отшибе стоял, вокруг деревья, кусты, даже днем темно. Она как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один, в приличном пальто, задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребенку, моему сыну, плохо, потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шапирюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать, а потом... у нас в договорах было записано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идет в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, могут и с работы попереть. Она, дура, зашла, этот, в пальто, следом, ну и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был – как их разглядеть? В общем, по полной. Она месяц в больнице лежала. Еще и зажигалкой прижгли. Я не в Париж, а в полицию на допрос. Они решили, что это я сомалийцев на Шапирюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, пролетел Париж... А во сне он мне понравился, – добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала, голосом. – Дома углами стоят, как уютно, гладят улицы, как брюки, всюду сирень и... негры. Один, здоровый бык, штаны спустил и прямо на скамейку... из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила: «Из-за леса, леса темного привезли его огромного...» Совершенно меня не стеснялся.

– И что там, в Париже? – неожиданно заинтересовался Объемов.

Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить. И города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые – настолько, что Объемов путался, во сне или наяву он их посещал. Он не сомне-



вался, что в общечеловеческой сети снов существует портал несуществующих городов, где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал названия – Гель-Гью, Лисс, Зурбаган – из альтернативного географического атласа.

– А я туда, не поверишь, – тоже перешла на «ты» буфетчица, – на симпозиум приехала! Это здесь я никто и звать никак, а во сне... – подмигнула Объемову, – уважаемый человек. Правда, не понять, из какой оперы. Серьезные проблемы разруливаю, и все по уму, по справедливости. А как проснусь, все через... – огорченно махнула рукой. – Хотя, – продолжила задумчиво, – и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать.

– Негры? – подсказал Объемов.

– Одежда выдавали в одном учреждении. – Она как будто не расслышала глупого вопроса. – Всем пожалуйста, а мне нет! Так обидно! Наверное, замерзла ночью, вот и приснилось. Но ведь не дали! А недавно... когда же это... да позавчера, на авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали: характеристика, допуск, анкета. С Лешкой познакомилась. Капризный был, рис, говорит, у тебя непроваренный и салат с песком. Я ему: не по званию претензии, лейтенантик, ешь что дают! С первого раза у нас не задалось. Сразу захотел полный обед с десертом! Послала его. Однако адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Проняло его. Капитаном уже был, командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую завпроизводством. Больше на раздаче не стояла. А во сне опять... понизили. Все мимо меня с подносами. Молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лешка в очереди, только на погонах почему-то пять стран-

ных каких-то, ушастых таких звездочек. Наверное, там у них другие звания и знаки различия. И еще заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали.

– И все? – разочарованно спросил Объемов.

– Не все, – вздохнула буфетчица. – Он со мной... по-немецки заговорил.

– Кто?

– Да Лешка! И куртка на нем была странная – военная, но не наша, точно, не наша. С тремя карманами на груди. И не на пуговицах, не на молнии – на железных таких квадратиках. Как он ее застегивал? От борща и котлеты с пюре отказался. Два компота попросил.

– Пить хотел?

– Не знаю. Поставил стаканы на поднос, а потом сказал: «Вернусь с задания, получу премию – поедем в Умань дом покупать».

– Я удивилась: «С каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умани хватило?» А он мне так серьезно: «Это не задание – миссия! Все уже решено, хоть никто об этом не знает». Что решено? Какая миссия? Лешка сроду такого слова не говорил... да еще по-немецки!

– А дальше-то что?

Объемов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и застежками в виде железных квадратиков. Он тоже не представлял, как они застегиваются и расстегиваются. И еще у него возникло ощущение, что где-то он уже все это видел, слышал, а может, читал? Неужели... во сне, – испугался Объемов. Перевел дух. Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пятью ушастыми звез-



дочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал.

– Только задание будет долгим, сказал, выпил компот, выплюнул косточку на поднос, придется тебе меня подождать. Я хотела его полотенцем по морде, но тут сирена врубилась. Наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?

Он пожал плечами.

– Все равно, такое счастье... Хоть во сне... – Блеснув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объемова, поставила на поднос. – Дед говорит, – продолжила уже другим, померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший его взгляд Объемова, голосом, – если спать становится интересней, чем жить, значит, дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А еще говорит, что если первая половина жизни дается человеку в радость, то вторая – в наказание. Хотя у него-то наоборот. Первая половина – война и лагерь, вторая – кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом... школьной крысе?

– Сколько ему, восемьдесят пять? – припомнил Объемов. – Уже не вторая, а... третья половина. Или третьей не бывает?

– Бывает, – охотно подтвердила буфетчица. – Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего-то ждет. А чего?

– От чего никому не отвертеться, – вздохнул Объемов, но по лицу буфетчицы понял, что она имеет в виду другое.

Ну да, – посмотрел на Каролину, – жизнь прожита, чего, кого ей ждать? Только улетевшего шестнадцать лет назад на истребителя своего короля.


Он и сам давно и, как водится, безытогово размышлял на эту тему. Ему тоже казалось, что лучшая часть его жизни, как живая цветная река, перетекла в сеть снов или в сонную сеть, что только там, рассекая виртуальные подсознательные волны, он расправляет крылья (плавники?), принимает ответственные решения, полноценно и насыщено существует. А как проснется – перемещается в нечто, точнее в ничто, в серый, вязущий по рукам и ногам туман, к однообразным бытовым хлопотам, мрачным мыслям, молчащим телефонам, бессмысленным новостям-перевертышам из радио, телевизора и компьютера. Похоже, в мире не осталось однозначных новостей. Любая заключала в себе собственное же отрицание, являлась одновременно новостью и антиновостью. Даже если сообщалось о смерти известной персоны, то часто оказывалось, что персона жива и здравствует. Непреложной, таким образом, оставалась единственная отсроченная новость, что все люди смертны и всему в мире (включая сам мир) рано или поздно настанет конец. Но интерес к ней, похоже, проявляли только писатель Василий Объемов, сотрудничавший с гитлеровцами дед из Умани и его странная внучка по имени Каролина.

Да, конечно, иногда Объемова выручают редкие путешествия, встречи с читателями в библиотеках, он заседает на круглых столах, иногда даже участвует в дискуссиях на второстепенных телеканалах, бывает, обнаруживает отклики на свои произведения в Интернете, но и поверх этой имитации или компенсации жизни как будто натянут непроницаемый купол. Из шапито выхода нет! Он сам однажды пережил паническую атаку во время ток-шоу, ощутив себя в замкнутом пространстве антижизни, выдающей себя за жизнь. Ни одну из обсуждавшихся проблем те, от кого это зависело, то есть власть или так называе-



мая элита, не собирались решать. Это было прекрасно известно участникам ток-шоу, кормившимся во круг власти или элиты, тем не менее они продолжали увлеченно фонтанировать словесной водой. Объемов не выдержал, гневно рявкнул в профессионально аплодирующую по команде расположившегося в затемненном углу хоровика массовку: «Прекратите! Вы – ничто! Ваше будущее – позор!» Хоровик, помнится, на мгновение замер, а потом врубил музыкальный проигрыш, после которого неожиданная реплика Объемова сама превратилась в нечто среднее между ничто и позором. В ничтожный позор или позорное ничто. Стоявшие за двумя длинными столами напротив друг друга «говорящие головы» – известные люди – посмотрели на Объемова с сожалением. После этого случая его перестали приглашать на телевидение.

Куда ушла жизнь? Почему даже сейчас в незнакомом городе, где наверняка много такого, чего он не видел – да хотя бы могучая крепость на берегу озера! – ему хочется тупо завалиться спать? А что будет, – холодея от ужаса, думал Объемов, – если, не дай бог, накатит бессонница? Тогда в петлю! Среди его знакомых имелись многолетние бессонные люди. Они (многие, кстати, одного с ним возраста) непрерывно рыскали по аптекам, мучали врачей, заказывали транквилизаторы через Интернет, каким-то образом обходя строгие запреты на их продажу без соответствующих рецептов, любую беседу сворачивали на тему – какие таблетки реально помогают заснуть, а какие – обман и подделка. Лишенцы сна, подобно лезущим сквозь заграждения и колючую проволоку в Европу беженцам, стремились в вожделенную страну сновидений, проявляли недюжинную пассионарность в отстаивании неотъемлемого права человека на сон. Лестница человеческих несчастий, воистину,

была бесконечной. На какой бы ступеньке ни стоял человек, всегда обнаруживался тот, кто стоит выше. Пусть я не живу, – подумал Объемов,  я хотя бы сплю (пока), следовательно, я существую, а вот они...

– Не надо бояться, – осторожно приобнял он за плечи Каролину, неожиданную сестру по скрашиваемой сновидениями муке (она же мука) бытия – так определил Объемов их общее на данный момент психологическое состояние.

Он хотел сказать ей, что это та самая мука (она же мука), из которой Государыня-смерть (определение Анны Ахматовой) выпекает для каждого своего подданного персональный, то есть предназначенный только ему и никому другому, крендель, да подумал, что Каролина, как выпускница пищевого техникума, может воспринять эту мысль слишком буквально. Объемов и сам не знал, почему одним – шедевры выпечки с тщательным соблюдением временных и кулинарных технологий, а другим – стремительный фастфуд?

Но он недооценил Каролину.

– И про смерть дед тоже говорил, – мягко, как если бы они были из воска, подалась плечами под его руками буфетчица.

Объемов на автомате (как во сне) прижал ее к себе, опустил руку на талию, точнее, на рельефно выпирающий из-под черной блузки телесный обруч. Ему вдруг вспомнилось неизвестно зачем прочитанное объявление в неверном свете фонаря на столбе возле гостиничной автостоянки: «Олеся. 27 лет. Ахнешь! Звони!» Там же висели и другие объявления с телефонами адвокатов, автомобильных и квартирных маклеров, практикующих на дому врачей-венерологов, а также безошибочно («Если не сбудется – деньги назад!») предсказывающих будущее экс-



трасенсов. Хотя, возможно, это явно неисполнимое обещание относилось к ожидающей звонков Олесе. Самое удивительное, что Объемов, оторвав хвостик с телефоном, зачем-то набрал номер и некоторое время слушал задушевно-ласковое, но в то же время деловито-коммерческое: «Да! Я слушаю... Говорите... Что же вы молчите?», пытаясь представить себе эту самую Олесю. Однако она вскоре отключилась, а он не стал перезванивать.

Рука соскользнула сталии. Буфетчица вздрогнула. Он понял, что совершил ошибку. Не следовало физиологически, то есть произвольно, ахать, в смысле – отдергивать руку от телесного валика, как будто его ударило током. Получился обидный для женщины «ах». Он попытался ободряюще улыбнуться Каролине, но улыбка вышла какая-то механическая. Ну и что, растерянно подумал Объемов, я пришел сюда поужинать, при чем здесь... это? Мы – о смерти, а не о...

– Дед сказал, что в определенный момент у человека пути души и тела расходятся, – спокойно, почти равнодушно, продолжила Каролина. Она не отреагировала на невербальный объемовский «ах», не сморщила брезгливо губы, мол, на себя посмотри, старая развалина. – Организм берет курс на смерть, потому что так велит природа, а человек, если слаб душой, ему подчиняется. Он, как капитан, чувствует, куда заворачивает корабль, а переменить курс не может. Не дай телу себя одолеть, говорил дед. А еще говорил, что цивилизация существует по физическим законам человеческого тела. Никакая война, говорил дед, случайно не начинается. Только когда уровень зла, страданий и несправедливости в мире зашкаливает. Он про это дело целую, советскую еще, школьную тетрадь исписал. Я читала, но не все поняла. Он вроде как у Бога спрашивал: если зло, страдания и несправедливость для человечества все равно что болезнь

для человека, то почему против этого у Бога единственное лекарство – смерть?

– Потому что смерти нет, – ответил Объемов, – а есть жизнь вечная. Ты ходишь в церковь?

– А на обороте тетради, где таблица умножения, дед вывел математическую формулу: «Жизнь = Смерть + Бог». Как это понимать?

– Отличная формула, – согласился Объемов, – главное, универсальная. Можно ставить слова и знаки в любом порядке – суть не изменится. Спросила у деда, что это означает?

– Спросила. Он сказал, что внутри формулы человеческой цивилизации и отдельно взятому человеку предоставляется выбор: умереть в силе и разуме, так сказать на взлете, или – как гнилому овощу на вонючей свалке. Однако чтобы сделать этот выбор, надо... что-то совершить, переступить через себя, одним словом, решиться. Это опасно, потому что трудно угадать, что получится.

– Отречемся от старого мира, – продолжил Объемов, – отряхнем его прах с наших ног. Знаешь эту песню?

– Слышу отовсюду, – усмехнулась Каролина, – даже, – кивнула в сторону кухни, – из микроволновки, не говоря об этом, как его... блендере.

– А на что я должен решиться, если я и есть... больное тело? – с преувеличенным интересом, лишь бы загладить свое (тела?) отступничество, спросил Объемов.

Ему пришла в голову мысль, что организм берет курс не только на смерть, но и на физическую деформацию, говоря по-простому – уродство. Невидимый скульптор как бы комкает собственное творение, злобно облепляет ошметьями лишней плоти, метит, как леопарда, пигментными пятнами, превращая несчастного в ходячую (хорошо, если), а не лежащую



прореху, как писал великий Гоголь, на теле человечества. Она права, опустил голову Объемов, я бродячая прореха на теле человечества, а человечество... прореха на теле Бога. Неведомый дед тоже прав! Господь, обливаясь слезами, штопает прореху по живому, потому иначе заштопать ее невозможно! У Господа нет для нас других ниток, кроме смерти!

– Тихо умереть во сне, – пробормотал Объемов, покосившись на свои обтрепанные, с узлами на шнурках кроссовки. – Вот счастье, вот... права!

Но Каролина, не дослушав, вдруг рассмеялась, прикрыв ладонью рот, где, по всей видимости, в моменты смеха открывались пропуски (прорехи?) в зубах.

– Я сказал что-то смешное?

Предполагаемый стоматологический дефект во внешности буфетчицы странным образом придал ему уверенности. Я еще могу мечтать, с хрустом распрямил спину Объемов, что женюсь на молодой, заведу детей, а вот она...

– Мне позвонили снизу, сказали, чтобы я записала фамилию, кто придет ужинать. Извините, как ваша фамилия?

Началось, поморщился Объемов, сейчас выяснится, что никто для меня ничего не заказывал, и вообще, кто я такой... Бабья злоба – она как... кислота разъедает мир, пятнает его... прорехами, куда проваливаются несчастные мужики.

– Объемов, – упавшим голосом произнес он. – Согласен, неожиданная фамилия. В словаре Даля...

– А мне, – приснула в прижатую к губам ладонь Каролина, – слышалось, извините... Обь...

– Знаю, что тебе слышалось, – недовольно оборвал ее Объемов.

В неискоренимом стремлении собеседников переделать его фамилию на непристойный лад он усматривал изначальную испорченность рода чело-

веческого. Объемов вдруг вспомнил, как в библиотеке пытался уточнить фамилию одного забытого писателя. Какую-то он тогда писал статью о советской литературе. На «Ш», сказал он симпатичной интеллигентной библиотекарше, и вроде бы из трех букв... «Шуй?» – немедленно предположила та. Фамилия писателя оказалась – Шим.

– Я еще подумала, как же человек с такой фамилией живет? – продолжила Каролина.

– На девятом этаже, – открыл дверь в холл Объемов, – в девятьсот седьмом номере.

Да, другие времена.
Не застоя-сонности.
Как теперь живёт страна?
Больше стало совести?

Меньше подлости вокруг?
Вот они критерии.
...Всё иллюзии, мой друг.
Всё, мой друг, мистерии.

Держитесь, люди русские, держитесь!
Друг другу помогайте, не ленитесь.
Нам надо выжить, выстоять, подняться,
Чтоб никого на свете не бояться.

Чтоб не грозили нам, не унижали,
Чтоб наконец-то мы соображали –
Кто друг, кто враг, что в нас самих
спасение.
Тогда и будет наше Воскресение!

Неопалимая купина

Россия то живёт, то умирает,
То снова миру слово говорит...
Терновый куст горит –
и не сгорает.
Так и – горя – Россия не сгорит...

Вот и Волги берег молчаливый –
Никого сейчас на берегу:
Холод, ветер, катер торопливый,
Небо, словно в зимнюю пургу.



Против ветра в небе бьётся птица,
Медленно летит она. Куда?
Что сейчас в душе её творится?
Холод. Ветер. Зыбкая вода.

...Надо жить, хотя так трудно верить
В лучший смысл земного бытия,
Надо приходить на этот берег,
Чтоб тоска развеялась твоя.

Ведь уже не раз такое было:
Так же сердце от неверья стыло,
А потом, откуда ни возьмись,
Начиналась, продолжалась жизнь.

Ветеран

Русланову слушает старый солдат,
И вольно в душе, как в долине.
Да, он консерватор, и он ретроград,
Но был в сорок пятом в Берлине.

И песня, как ветер, летит сквозь года
Из дали поверженной прусской –
Русланова пела в рейхстаге тогда
С великою удалью русской.

Шумите, витии, не знавшие бед,
В герои себя возводите.
Не знали ни бед, ни великих побед,
Что вам остаётся – шумите.

Я не могу как следует поститься
И каждую неделю в храм ходить –

И это мне, конечно, не простится,
Но всё-таки прошу меня простить.

Я знаю, что не отмолить стихами
Грехов, но всё тревожусь о стихах.
А надо просыпаться с петухами,
Читать каноны, думать о грехах...

И так, наверно, будет до могилы,
Хоть это мучает сознание моё.
Прости меня, Господь,
и дай мне силы
Творить во имя светлое Твоё.

Поля зелёные, коричневые пашни,
В душе любовь и к небу, и к земле –
И оттого немного даже страшно,
Что ничего не надо больше мне.

Иду пешком из Ханино в Слепнёво,
Иду тележной узкой колеёй,
Я знаю жизнь и горькой, и суровой,
Но нынче это в недрах, под землёй.

Всё где-то там до времени таится
И жутко машет острою косой.
А здесь – ромашки, ветер
на пшенице,
И я иду в рубашке и босой!..

В этом мире хорошо и плохо,
В этом мире грустно и светло.
Но какая б ни была эпоха,
А зимой за окнами бело.



Снег идет так чисто, благодатно,
Делает пушистым все кругом,
Черные закрашивает пятна,
На стекло садится мотыльком.

Снежный воздух радостен для внучки!
Мы пойдем по снегу погулять.
«Дедушка, возьми меня на ручки».
Снег, Россия, внучка – благодать!

Говорят...

Говорят, что ласточки – из рая.
А цветы? А дождика вода?
Всё из рая то, что, умирая,
Нам хотелось видеть бы всегда.

Из пункта А – то бишь из ада,
До пункта Б – то бишь до Бога,
Проложена не автострада,
А вдрызг разбитая дорога.

Прошел по твердому – и снова
Скользишь и падаешь, хоть плачь.
Но нет у нас пути иного,
И нет у нас других задач.

Вечность

Когда-нибудь все кончатся туманности,
И мы вернёмся к ясной первозданности.

Но после этой ясной первозданности
Ведь нам опять захочется туманности.

Но есть ли путь обратный – до туманности
Из той, обетованной, первозданности?

Всё рушилось вокруг и суетилось,
Казалось, мир висит на волоске.
И только сердце вдохновенно билось,
И в сердце места не было тоске.

Оно сияло будто от сознания
Того, что найден Путь, что ярок Свет.
Одна Любовь – основа мироздания.
Прочней и тоньше основанья нет.

Завет

*Я «сохраню тебя везде,
Куда ты ни пойдёшь».*

Быт. 28, 15

Я «сохраню тебя везде,
Куда ты ни пойдёшь»,
Я сохраню тебя в беде,
Я развенчаю ложь,

Через болезни и труды
К спасенью приведу,
И если стонешь от нужды,
Не унывай – приду.

И если восстанут враги
И сеют клевету,
Не суетись и не беги
По шаткому мосту.

Не дай себе с пути свернуть,
Надейся и держись.
И помни, что Господь «есть Путь,
И Истина, и Жизнь».

Разве б жил доньше человек?
Господу Всевидающему – слава!
Слава ныне, присно и вовек!

Памяти Ивана Кашпурова

Роняет слёзы степь, шумит печально.
Ушёл поэт, ушёл любимец твой.
Он пел, твоей любясь красотой,
Он пел тебе светло и величально.

О нём заплачут звоны погребально
И позовут на службу в храм святой,
А в книгах, что наполнены мечтой,
Как ручейки, звенят стихи прощально.

Поэт ушёл, но тысячами слов
Он снова к нам протягивает руки,
Родным прийти на выручку готов,

А время сокращает дни разлуки,
Летит с горы стремглав, как
снежный ком,
К друзьям, что в измерении другом.

Туман

Туман окутал землю пеленою,
Не видно в двух шагах, где друг, где враг.
Иду домой дорогою ночью
Сквозь неуютный и холодный мрак.

Деревья тонким инеем одеты,
И невозможен праздник и полёт,
И редких пешеходов силуэты
В тумане тают, как прозрачный лёд.

Покров

Кому поведать мне свои печали,
Кому открыться в горести моей?
Кто помощь мне подаст из горней дали,
В одежде, лёгких облаков белей?

Кто слёзы мои горькие осушит,
Кто скажет: «Не ропщи и не греши», –
И с бедной и страдающей души
Кто сбросит камень, что гнетёт и душит?

Способен кто избавить от оков?
Мне кажется, я это постигаю:
К Тебе, Владычица, я прибегаю,
Под твой чудесный и святой Покров.

С Днём Ангела

Неяркой звёздочкой ночной
В окно я загляну,
Для Вас, далёкий и родной,
На лире звонкой, как прибой,
Я натяну струну.

И воспоёт в полночный час
Правдивая струна
Любимый свет лучистых глаз,
Ваш облик сотворит из фраз,
Как может лишь она.

Стремится лира передать
Достоинства души,
А рифм отточенная рать
Слетится звёздами играть
В полуночной тиши.



С днём Ангела! Любви тепло
Примите от меня,
Чтоб не коснулось мира зло,
Чтоб счастье с ангелом пришло,
Вас бережно храня.

Минуты

Свежий запах цветов – белых роз
и лиловой сирени,
Лёгкий ветер в окне занавеску
качает слегка.
Тихий сумрак вечерний, туманные
милые тени,
И созвучья стихов создаёт
на бумаге рука.

Всё как будто застыло, и в сумрачном
смутном покое
Ни тревоги, ни бед, лишь минуты
неслышно бегут.
Очень редко бывает небесное
чувство такое –
Ощущенье величия этих
прекрасных минут.

Ну что, расчётливая злоба,
Чернить людей не надоело?
Не успокоишься до гроба,
Ведь ненависти нет предела.

А беспредельное терпенье
С любовью Божией возможно.
Тогда напасти и гоненья
Сломить не смогут, всё ничтожно.

Скорбям тяжёлым и тревогам
Владеть собой не позволяю.
Как хорошо, что сердце с Богом!
Защиты лучше я не знаю.

Дай, Боже, мне терпенья до конца,
Чтоб не противиться Всевышней воле,
Чтобы от бед не отвращать лица,
Не плакать от отчаянья и боли.

Пошли мне сил Тебя благодарить
За скорбь и муки, горе и страданья,
Чтобы всегда христианином быть
До глубины души, до тайн сознанья,

Чтобы смиренно тяжкий крест нести,
Была бы ноша по плечу, не боле.
Чтоб видеть яркий свет в конце пути
И не противиться Всевышней воле.

А когда по весне городок задохнётся сиренью
И душистых акаций вберёт в себя пряный дурман,
Зазвенят его улицы строчками стихотворений,
И Весну пригласит он продолжить их старый роман.

Он оденется в зелень деревьев немислимым
франтом,
А она впустит в кудри его гребешок-ветерок
И подвесит на грудь площадей его, как
аксельбанты,
Отражение радуг на мокром асфальте дорог...

Я вернусь, прилечу, свято веря в его бесконечность,
И без тени позёрства, к нему обращаясь, скажу:
– Здравствуй, город! Я не был здесь, кажется,
целую вечность.
Я скучал по тебе. Дай-ка я на тебя погляжу!..

Чтоб тебя разглядеть, мне достаточно
беглого взгляда.
Ты подрос этажами... Раздался на юг и восток...
Не старайся казаться огромным... Не пыжься...
Не надо!
Я видал города... Ты пока что ещё – городок...

Но всегда утверждал я (и дальше настаивать буду),
Если средним тебя назовут, это просто враньё.
Как огромен ты сказочно, если с тобой я повсюду!
Как ты сказочно мал, если в сердце вместился моё!

Через подошвы ног...

А детство вправду было «босоногим».
Нам кожа ног, по-южному смугла,
Приученная к боли, очень многим
Обычной летней обувью была.

Мы ощущали резвыми ногами
Всю прелесть и тепло родной земли,
Когда бродили росными лугами
И даже если бездорожьем шли.

Я помню землю в трещинах от зноя.
Она молила: «Дай воды глоток!»
А я не мог... И горе то, земное,
В меня вошло через подошвы ног...

Я помню годы щедрых урожаев:
Горой зерна вздымался хлебный ток!
И эта доброта её большая
В меня вошла через подошвы ног...

Теперь уж сыну говорю я часто:
«Пойди, побегай босиком, сынок!»
Хочу, чтоб боль земли, её Добро и Счастье
В него вошли через подошвы ног.

Урок не по программе

Я в школе был «дурного поведения».
Мальчишка. Шалопай и озорник.
«Разбил, стекло»... «Сорвал уроки пения»...
«Залез в окно»... – писали мне в дневник.

Не знаю, сколько б это продолжалось...
В конце концов пришлось держать ответ:
И вот однажды за очередную «шалость»
Я вызван был на школьный педсовет...

По всем моим «грешкам» прошлись
подробно
(А мне б вполне хватило и «рысцой»)
– А как он в отношении учёбы?
– Способный парень, но, увы, с ленцой...



Всё ясно. И вопрос об исключении
Над головою – как дамоклов меч...
Учителя сошлись в едином мнении.
Осталось утвердить и – дело с плеч.

Конец короткой школьной биографии.
И, словно подводя всему итог,
Взял слово наш учитель географии
(В военном прошлом – полковой
разведки бог).

Весь съежившись и взгляд
«приклеив» к полу,
Я вдруг услышал: – Да-а, нехорошо...
Такие вот, как он, позорят школу...
Нет! Я б с таким в разведку не пошёл...

Слова вонзились иглами под кожу,
Качнулся пол и – слёзы из-под век.
Неужто я и впрямь совсем негожий,
Никчемный, захудалый человек?!

Кто? Я? Да я... Да как он смеет!
Ведь я могу... Я столько книг прочёл...
Я там пройду, где взрослый не сумеет!..
Да мне любые горы нипочём!

А он такое... Ну и... Стиснув зубы
И сжав до боли за спиною кулаки,
Я ждал решения... Дрожали губы.
И щеки распирала желваки.

И вот тогда, тихонько скрипнув стулом,
Руководитель классный поднялась,
Рукой журнала классного коснулась,
Как будто бы на Библии клялась...

– Конечно, он ничем не блещет в школе
И на любые выходки мастак...
Но знаете, а я ведь верю Коле,
Он осознает, он поймёт. Ведь так?!

Да! Так! Конечно, так! От счастья
Сдавило в горле. Зубы не разжать...
Но слабость ни к чему! И в знак согласия
Я лишь кивнул и... бросился бежать...

...Прошли года. И жизнь свои отметки
На нас кладёт, как в школьную тетрадь.
И КАК мне жить и с КЕМ идти в разведку,
Давно уж сам я вправе выбирать.

Но часто, если в ком-то сомневаюсь
Иль просто взять ответственность боюсь,
Я тут же благодарно вспоминаю
Учительницу школьную мою.

Я получил урок не по программе.
Урок добра, и веры, и любви!
Любви, которая под стать лишь маме
Да самым близким людям по крови.

Прошу судьбу: «Смени свой гнев на
милость,
Пошли ей счастья, света и огня!
Спасибо ей за то, что не ошиблась
И что тогда поверила в меня».



Откровения души Михаила Литвинова

«Чедуужевыронилизрук», – с точки зрения людей верующих, так говорят о неиспользованном шансе людей, пасующих перед трудностями. А в истории, которой хочу поделиться, так можно сказать о победе над бедами мужественного и одаренного человека и о мудро использованных шансах, подаренных ему судьбой.

Три спектакля, три театральных события ушедшего 2017 года слились в единое целое. Оно, по большому счету, так и есть. Все работы объединены не только темой, но стилем. Режиссер и актер Михаил Литвинов остается один на один со зрителем. Из изобразительных средств – только видеозэкран, музыка и его голос...

Моноспектакли Духовного цикла в разное время я отсматривала, сидя в маленьком зале Народного домашнего театра-студии «Оптимисты», что находится в п. Старомарьевском Грачевского района, по сути, в сельской глубинке Ставрополья. Не скрою, в первый раз заранее настраивала себя на позитив типа – не стоит предъявлять осо-



**ТАМАРА
ДРУЖИНИНА**

**Публици-
стика**



бые требования к тем, кто имеет желание, но не располагает возможностями строить настоящий театр. Однако уже первые минуты действия обнаружили мою неправоту.

...Музыка с перезвоном колокольников, затем протяжный, будто уводящий в другое время и место хор (гул) голосов. Темноту зала разрезал пучок света, выхвативший из мрака фигуру человека в инвалидном кресле.

– Я вам немного почитаю, но это не проповедь, а текст, написанный режиссером, я его прочту как режиссер, актер и прихожанин своего храма... – так Литвинов начал моноспектакль «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, приуроченный к 1000-летию Крещения Руси и прославлению Боговерного князя Владимира. Изобразительных средств – минимум. Только видеоэкран, музыка и его голос.

Михаил Данилович Литвинов просто рассказывал нам то и о том, что вряд ли кто-то когда-то читал сам. Но делал это так, что ты будто под гипнозом оказывался. Вот уж не ожидала, что, затаив дыхание, буду ловить каждое слово первопамятника древнерусской литературы 11 века, произведения, не имеющего никаких театральных истоков и традиций. Гораздо позже, сидя уже на премьере «Божественных од» Г. Державина, пережила примерно те же ощущения.

Очередная премьера – моноспектакль «Молитва», вышел аккурат накануне светлого праздника Рождества Христова. В его основу положены духовные стихи гениальных русских поэтов 18–21 веков. За сорок минут времени прозвучало 36 стихотворений мастеров слова от 18 века до наших дней. Когда вслушивалась в пронизывающие строки А. Фета, П. Вяземского, Ф. Глинки, К. Романова, В. Жуковского, Д. Мережковского, к горлу то и дело подступал твердый комок.



В далеко не юные годы все тексты Литвинов читает наизусть, даже не пытается подстраховаться шпаргалками («Стыдно! Дело-то святое!»). Каждое произнесенное слово снайперски попадает в «картинку» на видеозэкране. Крепчая, голос актера будто раздвигает пределы зала, наполняя тебя то светом радости, то острыми переживаниями. И еще один момент дорогого стоит. Всякий раз (не только у меня, но и у всех, сидящих в зрительном зале: об этом мне говорили коллеги) возникало ощущение, будто актер, рассказывая, спрашивая, утверждая что-то, обращается лично к тебе.

Еще не «остывших» от театральных впечатлений, Михаил Данилович приглашает гостей пройти в дом.

– Устал Данилыч? – это председатель Общественного совета при министерстве культуры Ставропольского края В. Лычагин, которого Литвинов называет еще и своим продюсером. В прошлом актер, Владимир Маркович человек глубоко верующий. Для Литвиновых он не просто желанный гость, а друг, советчик и критик. Сама идея Духовного цикла родилась в дружеских обсуждениях; для последнего спектакля – «Молитва», Владимир Маркович помогал подбирать поэтический материал. И, к слову сказать, он один из тех, кто много лет назад рассмотрел и оценил артистический, режиссерский, организаторский талант Литвинова.

– Актерство, как и режиссура, дело сложное, – делился впечатлениями В. Лычагин. – Но суть одна: либо это есть, либо нет. Иногда в театре – масок много, а сути никакой. Но когда в спектакле есть смысл, актеру есть чем поделиться со зрителем, особенно, когда он делает это с открытой душой. Тогда артист интересен всем. В цикле моноспектаклей, которые мы увидели, четко просматривается логика и последовательность. Режиссер начал со «Слова о законе и

Благодати», где речь идет о Ветхозаветной традиции и Новом Завете. Затем он перешел к фундаментальной проблеме – Бог в жизни человека («Божественные оды» Г. Державина). В «Молитве» вышел на детализацию воцерковления отдельного человека и на то, как побудить к духовной работе самые тонкие струны зрительской души. Со сборником стихов Михаил Данилович много работал; из множества текстов отбирал то, что близко его душе. И нигде как автор сценария, режиссер и актер он не погрешил против истины, рифмы и ритма. У Литвинова врожденное чувство поэзии. Объемность материала во времени и пространстве расширяет видеоряд. Мы видим не только церковные службы, но и лица современников.

Действительно, почему, сидя в темном зале, мы чувствуем, как сжимается сердце? Да потому что не просто становимся свидетелями далеких исторических событий. Проблемы добра и зла, поиск идеала и своего места в жизни, определение меры компромиссов с собой и другими – это ведь одновременно и наши сегодняшние проблемы.

Как сказал после просмотра одного из спектаклей известный в крае и стране профессор филологии В. Головкин: «Через Крещение Россия приобщилась к великой духовности, и нет иных избранных (какими считали себя иудеи), кроме тех, кто пожелал прикоснуться к объединяющей идее Любви. Для нашего времени эта идея ничуть не менее значима, чем духовное просветление каждого отдельного человека. В наш век бездуховности, прагматизма, утилитарности, бесчеловечности Слово – оно такое... озаряющее».

Михаил Данилович хлебосольный хозяин. Быстро пресекает поток разговоров.

– Пойдемте за стол, там всё и обсудим.

Виртуальные дети «НЕТа»

«Пойти» можем только мы. Литвинов же, чтобы попасть в дом, должен вначале выехать из «театрального зала». Все наперебой предлагают хозяину помощь. Но не тут-то было. Ответ, словно приказ:

– Я сам!

Не успели расступиться, как, включив моторчик электроколяски, он лихо развернулся и споро взлетел вверх по пандусу. Едва успели отворить входные двери, ведущие в опрятный сельский дом. Мужчины, в том числе немалого роста столичные гости, снимающие документальный фильм о Литвинове, вынуждены пригнуться, чтобы не стукнуться о притолоку. Пока рассаживаемся, идет стихийный обмен мнениями.

– Как ты, Данилыч, всё запоминаешь? – подступает к другу Михаил Якимов, председатель Совета стариков Грачевского хуторского казачьего общества. – Я с внуком простенькое стихотворение учу по два часа. Он уже бьется головой о стену в истерике: «Не хочу, не могу!», а ты шпаришь все наизусть ... – Привычка, – смеется Литвинов.

– Как все шло тяжело! – вспоминает он о начале работы над Духовным циклом. Я «Слово о Законе и Благодати» прочитал 27 раз, чтобы просто понять, о чем это. Очень сложно было принять старославянский язык. Для того, чтобы хоть немного приблизиться к сути, перечитал Ветхий Завет. Потом вернулся к Новому Завету и только потом приступил к самому тексту; пока сокращал, еще 17 раз прочел его. А потом очень трудно было соединить чтение и видео. Потратил на это почти месяц. Ужас просто, но теперь эта работа стала для меня как молитва. Каждое утро с этим встаю и живу.

Режиссер из столицы, который приезжает сюда во второй раз (один его телефильм о Литвинове уже прошел по центральному телевидению), затронул вопрос, подспудно волновавший всех.

– О спектакле уже многое сказали. А я сделаю, наверное, два шага в сторону. У меня сыну семь лет – это время, когда формируется характер и определяются ценности. Я сам человек православный, но как заинтересовать этим ребенка?! Три года пытаюсь найти книжки, которые бы на простом, понятном детям языке рассказывали о первоосновах нашей культуры, цивилизации. Думаю, их просто нет. Те, что встречал, примитивны или переусложнены. А что вы, Михаил Данилович, собираетесь делать дальше? Знаю, что свои духовные спектакли вы показывали в разных аудиториях. Их понимали и слушали. Но все это – больше для нас, взрослых, к сожалению, в вопросах духовности тоже малообразованных. Нас вы «пробили». Почему бы не поискать дорогу к детям? Так, чтобы, не ставя впрямую задачи обратить их в Православие, возбудить у ребят интерес. Я имею в виду просвещение, эмоциональное восприятие информации.

Что тут скажешь, интересное предложение. Вот ведь: будучи уже профессиональным мастером слова, английский писатель Вильям Блэк вдруг начал писать очень просто. Результатом его усилий стал духовный цикл «Песни невинности», адресованный детям. Разве ничего подобного нельзя отыскать в русской классике? Взять метафоричные и образные библейские притчи. «Переведенные» на понятный детям язык, они вполне могли бы превратиться в сказки, которые очень любят те, кому «от двух до пяти» и далее. Но Михаил Данилович мог бы их театрализовать. Цель более чем благородная.

– Сегодня, чтобы ввести детей в совершенно новую для них духовную жизнь, не существует ничего,



кроме воскресных школ, куда ходят очень немногие, – продолжил свою мысль режиссер из Москвы.

Тему тут же подхватил директор Регентской школы Ставропольской духовной семинарии, настоятель ставропольского храма Преображения Господня отец Владимир, который давно следит за работой Литвинова: «Я рад, что мне выпало счастье видеть и слышать «Молитву». Это ведь разговор человека с Богом. Когда ты хочешь говорить с Ним, не обязательно делать это в установленное время – а всегда, когда нуждаешься: стоишь, идешь, разговариваешь; когда ты падаешь или совершаешь грех. Ребенку по возможности раньше нужно объяснить это и многие другие вещи, которые защитят его, избавят от острых жизненных разочарований».

Отец Владимир говорил о наболевшем. В программах современной школы повсеместно четвероклассникам предлагают выбрать для занятий модульный предмет «Основы православной культуры» или «Светскую этику». Родители, как правило, выбирают светский предмет. Говорят: «Наши дети вырастут и сами будут делать выбор, как жить и во что верить. А сейчас, пожалуйста, не трогайте их души».

Такая вот дилемма... То, что помогло бы подрастающему поколению узнать историю родной культуры, решительно отвергается. А ведь духовно Россия возрастала именно на христианстве, на Православии. И как, скажите на милость, объяснить каждому взрослому, что, отказываясь от изучения основ православия, они, прежде всего, лишают своих детей знаний об истории народа, собственных корнях. Полученная вовремя информация дала бы ребятам возможность, приходя в музеи, театры, филармонии, видя евангельские сюжеты или слушая музыку, понимать все это глубоко, не быть «иванами», не помнящими родства». Увы. Дети вырастают, у них появляются свои

приоритеты. Не о них ли напоминает нам известный в стране шансон С. Трофимов, когда поет: «...Виртуальные дети НЕТа – у которых уже нет прошлого. И России, похоже, – нету». Хорошо, что пока – не у всех. У учеников Литвинова есть и сегодняшний день, и Родина, большая и малая.

Домашний театр ставит разные спектакли. В том числе о драматической истории страны, судьбах людей, проблемах молодежи. Тема православия на сцене Домашнего театра – прецедент. Давно интересуюсь театром, не припоминаю, чтобы кто-то из российских мастеров касался её всерьез («Мастер и Маргарита» М. Булгакова – совершенно иной случай). Литвинов за неё взялся. Хочется верить, что это знаковое событие: значит, понемногу созревает потребность. О том, как это случилось, особый разговор.

Путь к себе

Есть люди, которые с детства чувствуют призвание к профессии. Вспоминая свою жизнь, Михаил Данилович рассказал, что в школе, ничего еще толком не зная о театре, он сочинил и «поставил» с дворовыми ребяташками сказку. До сих пор помнит чувства, пережитые во время фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Момент революционного хаоса, когда по ступеням каменной лестницы несутся люди, солдаты, матросы; и, опасно подпрыгивая, катится вниз коляска с младенцем. Михаил уже тогда твердо решил, что вырастет и станет артистом, сам будет снимать фильмы. Немало испытаний, непреодолимых даже для зрелых, взрослых людей, пришлось преодолеть сельскому парнишке на пути к цели.

– В детстве я переболел корью, осложнение пошло на вестибулярный аппарат: появилась шаткость в походке. Особенно сильно болезнь проявлялась, когда



начинал волноваться. Конечно же, переживал, понимал: теперь моя мечта стать актером вряд ли осуществится, но до последнего момента надеялся на чудо. Писал запросы во все театральные училища страны, а узнав, что в Ставрополе набирают молодежь в театральную студию при краевом драматическом театре, поехал и поступил на актерский курс.


Можно было ввести педагогов в заблуждение в день сдачи экзаменов. Но в течение года тайна его хвори открылась, и после первого курса Литвинова отчислили «за профнепригодность». Дело близилось к вечеру, Михаил «на автомате» собрал вещи и выбежал из общежития. Не помнит, как оказался за городом и почему не дождался автобуса. В памяти осталось лишь то, как непроглядной ночью он бежал по степи: падал на землю, давая волю слезам, вставал и снова бежал... Пешком – это около 30 километров. Домой попал утром. Замертво упал в неразобранную постель и заснул.

Только через время, отойдя от стресса, Михаил вспомнил, что любимый педагог курса, разглядевший в нем нешуточную любовь к театру, посоветовал ему поступать не на актерское, а на режиссерское отделение. И адрес назвал: студия при Симферопольском драмтеатре.

Сразу скажем, что Литвинов благополучно поступил и с успехом закончил вначале студию, а в 1972 году – еще и филиал Московского института культуры в г. Тамбове. Вернулся в родные места. Устроился на работу в местном Доме культуры и сразу же объявил набор в театральную студию. Для себя решил, что репертуар будет делать только на качественной основе: классика и современная драматургия. Его первый спектакль «Солдатская вдова» по пьесе Н. Анкилова был задуман как гимн русской женщине, вынесшей на своих плечах бремя военного времени. Ставропо-

лье тяжело пережило фашистскую оккупацию. Женщины пахали, сеяли, растили хлеб, так необходимый мужьям и братьям на войне; история помнит немало случаев, когда, рискуя жизнью, казачки угоняли скот в степи, на Черные земли, чтобы коровы-кормилицы не достались оккупантам.

Свой спектакль режиссер оснастил узнаваемыми приметами (декорации, костюмы, южный выговор), которые не могли не напоминать зрителям родное село. В зале сидело много бывших фронтовиков и, конечно же, их жены, родственницы... Не стеснясь слез, люди плакали, а в конце аплодировали так, что едва ладони не отбили.

В исполнении студийцев односельчане увидели много спектаклей. Музыка и слово органично слились в отрывках из «Тихого Дона» М. Шолохова и остроумной сказке Л. Филатова «Про Федота стрельца – удалого молодца»; в работах по рассказам В. Шукшина. Зрителям запомнились: «Порядочная женщина» В. Крепса, «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «Живи и помни» В. Распутина, «Медведь» А. Чехова... За последние годы этапными для коллектива стали «Каменный гость» А. Пушкина и «Живи и помни»  Распутина...

Работа наладилась. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но она не заставила себя долго ждать. Накануне Пасхи, как большинство односельчан, Михаил отправился в церковь. Уступая дорогу старушке, встал на бордюр, не удержался и упал. В результате щиколотка – пополам и разорванные связки; операция, гипс по самый пах и прозрачные намеки врачей, что теперь уж вряд ли он сможет самостоятельно передвигаться.

Режиссер оказался обездвиженным. И снова взрыв отчаяния: какой теперь театр!.. Но не зря, видно, говорится: Бог спасает через испытания. Сколько



раз уже в, казалось бы, самых отчаянных ситуациях выход находился там, где, с точки зрения других, была глухая стена. Однажды пришли студийцы и со свойственной молодости бесшабашностью предложили: почему бы, как прежде, не возобновить репетиции? Невозможно делать это в ДК, давайте репетировать на дому. Первой реакцией Литвинова было возмущение: сплошная чушь! Но идея эта не давала покоя, и, словно головой в омут, однажды он решился: «А давайте попробуем!» И повод подоспел: двухсотлетие Пушкина. Спектакль по мотивам произведений великого поэта репетировали прямо в доме Литвинова.

На репетиции его в буквальном смысле слова приносили на руках. «Так и режиссировал, лежа на полу, – смеется Михаил Данилович. – Помните, что ответил Черчилль на вопрос о том, как ему удалось сохранить здоровье и долголетие: «Я не стоял, когда можно было сидеть, и не сидел, когда можно было лежать»». Именно спектаклем, поставленным «лежа», в 1999 году открылся Домашний театр Михаила Литвинова. На премьере в комнату, рассчитанную от силы на 15 мест, людей набилось втрое больше, чем позволяли размеры.

Хата Мельпомены

Так между собой ученики Литвинова в шутку называли свой театр. Если кто-то думает, что он начинается «с вешалки», то это – вовсе не обязательно. Театр Литвинова начинается... с тапочек. Снимать обувь у порога – первое и безусловное требование для всех, кто его переступал. Убирать и вычищать ковры здесь особо некому. Хотя в последнее время в доме Литвинова появилась хозяйка, «добрый ангел» – его родная сестра Валя. Она и продукты купит, и обед пригото-


вит, и умным советом поможет. При большом скоплении народа маленькая прихожая буквально расцветает разноцветно-разнокалиберной обувкой.

Большие и маленькие зрители входили не в комнату, а в настоящий зрительный зал, где на окнах – театральные шторы, а сцену отделяют от зрителей театральные занавеси. Всё: декорации, костюмы – сделано руками артистов и их руководителя. Активными помощниками стали коллеги (и друзья по жизни) из Ставропольского отделения Союза театральных деятелей РФ. В первую очередь, председатель краевого СТД, заслуженный артист РФ В. Аллахвердов и его заместитель Л. Заводнова. Вход в Домашний театр принципиально бесплатный. Даже когда речь зашла о том, чтобы во время туристических поездок по краю привозить сюда «платных» зрителей, Литвинов наотрез отказался: «Денег я брать не буду!»

Глаза – в глаза, душа – в душу

Впрочем, самая большая проблема не в деньгах. В кадрах. Литвинов должен постоянно думать о пополнении труппы. Единственный кадровый резерв в поселке – средняя школа. Спрашиваю:

– И сейчас ученики есть?

– А как же? Семь человек, пятиклассники. Я полгода с ними занимаюсь основами театрального мастерства. До поры  времени зверей изображают, кошечек. Обязательно даю упражнения на внимание и память. Иногда слышу, шепчут недовольные: «Надоело. Только на него и смотри!» Это потому, что я с первого дня учу их сценическому общению: не просто слова текста проговаривать, а общаться: глаза в глаза, душа в душу, как с партнерами, так и со зрителями.

– И какая «ступенька» актерского мастерства самая сложная?



– Дисциплина. Если репетиция начинается в 14.00 – значит, ни на минуту позже. И все мои указания, просьбы, задания должны выполняться неукоснительно. Ну, а потом – учеба. Приходят ребята, я сразу им говорю: телефоны и дневники – на стол. Проверяю. Если вижу двойки, принимаю меры. Они в этом доме и едят, и пьют, и уроки делают, и репетируют.



– Практически большая, дружная семья?

– А как иначе? Сколько раз учителя удивлялись: «Пока к тебе не пришел мальчишка, был кандидатом-второгодником, сейчас пятерки-четверки приносят». А я им: ну, вам же этот двоечник не нужен был, отчитали часы и ушли, а мне он очень нужен, потому что – лучший в актерском мастерстве. Я посмотрел его дневник и говорю: «Хочешь остаться в театре, садись и делай уроки». Пыхтит, но делает. Бывает, конечно, что кто-то и не выдерживает. Случалось, ухидили. А через год снова просились назад, «в театр». Я их учу произносить стихи по-другому. Не декламировать так, чтобы пятерку в дневнике поставили, а чтобы они сами понимали, о чем идет речь, и зрителям это доходчиво могли «донести». Возмущаются: он (я значит) на репетиции требует по 50 раз одну фразу повторять. Я-то знаю, что пройдет время, и они поймут: я не из вредности придираюсь, а чтобы получилось всё, КАК НАДО. Зато потом говорят: «Данилыч, какие мы тогда были «дураки». Мало ты нас «костил», надо было больше».

Думаю, что «костил» все-таки в меру. По-отцовски. Но учеников вырастил достойных. Над «Духовным циклом» с ним рука об руку работал замечательный видеорежиссер Владимир Задов, профессионал высокого класса, который сегодня работает в Ставрополе. Материал для моноспектаклей он подбирал долго и трудно. Зато получилось так, будто текст, слово и музыка выросли из одного «корня».


Учитель, который по-настоящему любит своих учеников, знает: там, где заканчивается дисциплина, заканчивается результат. Для Литвинова достойный результат – успешный спектакль. Он педагогический режиссер и давно понял, во время репетиции нельзя быть снисходительным. Иметь снисходительность, значит смотреть на ученика сверху вниз, а ученик должен быть рядом. «Я артист, и он артист; мера ответственности у нас одна. Стремлюсь к тому, чтобы мы были взаимозаменяемы». Литвинов учит и одновременно учится сам. Считает: репетиция – не догма «делай, как я», а своего рода азартная игра – отыскать, как лучше, точнее выйти в спектакле на самую высокую «ноту», «поймать эмоцию».

Из воспоминаний Л. Заводной: «Повезли мы как-то спектакль Литвинова на конкурс в Санкт-Петербург. Там отсматривали разные театры. Возглавлял комиссию А. Ширвиндт. Литвинов должен был показать «Ведьму» А. Чехова. Внезапно заболел актер, который играл Дьячка. Михаил Данилович надел костюм и сам вышел на сцену. Когда закончился показ, Ширвиндт долго бегал и искал его по всем углам, кричал: «Где этот актер, дайте мне с НИМ познакомиться!»

Н.  Сашу Беляева, который, вылечившись, потом выходил в этой роли на сцену, позже пригласили поступать в институт кинематографии. Получил лестное приглашение и сам Литвинов. Режиссер Анисимов из Пушкинского театра предложил ему принять участие в пробах на роль Иисуса Христа, а Саше Беляеву – на роль апостола Петра. Пробы утвердили. Предупредили, что через полгода вызовут на съемки. Увы, через полгода развалился Советский Союз, а вместе с тем и очень много хороших плано 

Из воспоминаний В. Аллахвердова: «В театре Литвинова шел спектакль «Моцарт и Сальери». Играли пацаны 12–13 лет, седьмой класс. В главных ролях



Михаил Подзолко и Оксана Бочарова. Мы сидели на лавочках перед сценой, как любит говорить Литвинов, глаза в глаза. Иной раз приходилось отводить взгляд, настолько тесным было общение. Шел мощный обмен энергией. Я смотрел и думал: что происходит? Давно не видел, чтобы взрослые так эмоционально играли, а здесь – дети. Что он с ними делал, как вынимал из них то, что ребята еще не узнали и не пережили в жизни 

В. Лычагин: «В этом доме был народный артист РСФСР, секретарь правления Союза театральных деятелей РФ Андрей Толубеев, я его сопровождал. Показывали чеховский спектакль «Медведь». Андрей Юрьевич с интересом смотрел, много смеялся, а потом расчувствовался, долго разговаривал с Михаилом Даниловичем. В это время с накрытым столом его ждали официальные лица в Ставрополе, но Толубеев так и остался до глубокой ночи у Литвинова. Говорил: мне здесь хорошо, никогда больше не поеду. Пообещал помочь переоборудовать старый сарай во дворе в театральный зал, напомнил об этом тем, от кого зависело решение вопроса, помогли ученики и спонсоры. Результат вы видели: получился вполне приличный театральный зал, в котором мест втрое больше, чем в доме».

Из новостного сюжета, прошедшего на Пятигорской студии телевидения: «Спектакль-шутка «Медведь» стал судьбоносным для молодых артистов театра «Оптимисты» из п. Старомарьевского О. Бочаровой и М. Подзолко. Он был показан в Москве на сцене Детского музыкального театра «Экспромт». Народная артистка РФ Людмила Иванова высоко оценила работу актеров. А народная артистка РФ Евдокия Германова пригласила молодых артистов из Старомарьевки в школу-студию МХАТ».

Сегодня Народный домашний театр-студия «Оптимисты» заслуженного работника культуры РФ

М. Литвинова знают не только в регионе, но и в стране. За более чем сорок лет работы он удостоен многих наград. Самые дорогие – победа в Общероссийском конкурсе социальных проектов «Наш Город» в номинации «Наш дом»; звание лауреата Международной премии «Филантроп» и V Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр», победа в краевом конкурсе малых форм театрального искусства «Русь, Россия – Родина моя» и совсем недавняя Литературная премия имени В.И. Слядневой, а также многочисленные награды за участие в зональных и краевых конкурсах.

– Через мою школу прошли около четырехсот человек, – рассказывает Литвинов, – поставлено более 30 спектаклей. Их увидели 14 тысяч зрителей...

Уверена, будет еще больше, потому что история маленького театра, рожденного человеком с большой душой, продолжается. У очень хорошего поэта Б. Пастернака есть такие строки: «Не потрясения и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровенья, бури и щедроты души, воспламененной чем-нибудь». Революционеров у нас много, а «воспламененных душ» очень мало. Так было всегда. Но вот случилось: запылала где-то в мало кому известной Старомарьевке душа одного человека, и вышло прямо по заповеди: «Спасись сам, а с тобой и тысячи пойдут»...



Долгожданное победное шествие

75 лет назад, в январе 1943-го, Красная армия начала освобождение Ставрополья от гитлеровских оккупантов

«Второго Сталинграда» немцы едва избежали

Писатель и историк Лев Безыменский, многие годы посвятивший поиску материалов о событиях на Кавказе, в книге «Провал операции «Небун»» писал:

«Сталинградская победа выбила из-под ног гитлеровцев почву, казавшуюся столь прочной. Все, что они считали незыблемым, рушилось. Рухнул фронт на Дону и Волге, и, как следствие, армия фон Клейста из авангарда войск, устремлявшихся через перевалы Кавказа, превратилась в зарвавшуюся группировку, которой грозило такое же окружение, как и 6-й армии в Сталинграде.

Если раньше слова «Клухорский перевал», «Эльбрус» вызывали в ставке Гитлера восторг, то сейчас их никто и слышать не хотел. Какой уж тут Клухор,



АЛЕКСЕЙ КРУГОВ,
ОЛЕГ ПАРФЁНОВ

Краеведение



когда советские войска, разгромив армию Паулюса, устремились к Ростову, угрожая отрезать всю группировку Клейста, в то время насчитывающую 760 тысяч солдат и офицеров...»

Спасая уже кавказскую группировку, 29 декабря 1942 года Гитлер отдал приказ об отводе войск. Правда, называлось это «выравниванием фронта».

В ночь на 1 января 1943 года немецкая 1-я танковая армия, прикрываясь сильными арьергардами, начала отход. Боясь «второго Сталинграда», войска вермахта, отчаянно огрызаясь, оставляли за собой выжженную землю, разруху, людское горе.

Из района севернее Моздока в наступление пошла Северная группа войск Закавказского фронта генерал-полковника И.И. Масленникова, однако успеха не добилась. Соединения 44-й армии под командованием генерал-майора В.А. Хоменко, а затем и 58-й армии генерал-майора К.С. Мельника наносили удары ограниченными силами.

Лишь 3 января, когда противник отвел не только главные силы, но и части прикрытия, Северная группа войск перешла к его преследованию по всему фронту. Велось оно поначалу нерешительно, неорганизованно и несогласованно, на ряде направлений терялось управление соединениями и частями.

Как правило, это объяснялось медленной перегруппировкой войск, плохим состоянием дорог, а то и полным их отсутствием.

Такое положение вызывало недовольство Ставки Верховного Главнокомандования, где подчеркивали, что нам невыгодно выталкивать противника с Северного Кавказа, напротив, необходимо как можно быстрее задержать его с тем, чтобы ударом со стороны Черноморской группы войск окружить и уничтожить.


Однако Черноморская группа оставалась на прежних рубежах и продолжала перегруппировку



войск. Северная группа выполняла задачу исключительно группы преследования, и к исходу 6 января продвинулась на северо-запад на 15–20 км. Соединения 46-й армии, растянутые на широком фронте, не могли создать сильные ударные группировки и вели преследование отдельными разрозненными силами. Требования Ставки выполнить не удалось.

Город необходимо было срочно спасать

Тем не менее действия Красной армии становились все более целеустремленными и организованными, фронтальное наступление сочеталось с нанесением охватывающих ударов. Мы освободили Малгобек, Моздок, Нальчик.

7 января танковые части Северной группы войск были объединены с 4-м и 5-м гвардейскими кавалерийскими корпусами в конно-механизированную группу под командованием генерал-лейтенанта  Кириченко. Создавались подвижные моторизованные группы для обхода арьергардов противника и выхода на пути отхода его главных сил.

К исходу 8 января соединения немецкой 1-й танковой армии, отойдя на 80–110 км, заняли оборонительный рубеж по реке Куме. К 10 января к нему вышли главные силы 44-й, 9-й и 58-й армий, передовые части которых прорвали немецкую оборону. 52-я танковая бригада, обогнав отступавшего врага, вышла к Минеральным Водам и 11 января во взаимодействии с 131-й бригадой освободила город. Противник начал отход на новый рубеж.

Развивая наступление, к 15 января войска Северной группы овладели Буденновском, Георгиевском, Кисловодском, Пятигорском, Ессентуками, но на рубеже по реке Калаус были вновь остановлены.

17 января 37-я армия овладела Черкесском. В тот же день 9-я армия заняла железнодорожную станцию Курсавка, а 20 января освободила важный железнодорожный узел Невинномысск.

К этому времени 44-я армия вышла на подступы к Ставрополю. Первым к юго-восточной окраине города подошел 1177-й стрелковый полк майора М.В. Львова. Шоссейную дорогу Ставрополь – Надежда перерезал 1175-й стрелковый полк уроженца Ставрополя майора А.Е. Короткова. К северо-западной окраине подошли подразделения 1179-го полка подполковника А.Н. Гервасиева.

«Я знаю, полки за сутки прошли с боями 40 километров, – обратился генерал Хоменко к собравшимся командирам. – Люди устали. Но поймите, надо спасти Ставрополь! Если мы не выйдем оттуда фашистов, через сутки от города останутся одни руины...»

Приказ освободить город был отдан ночью 19 января. План был такой: командиру 1175-го стрелкового полка майору А.Е. Короткову при содействии 1-го артдивизиона артиллерийского полка предстояло ударить по железнодорожному вокзалу, где сосредоточились главные силы врага. Командиру 1179-го полка подполковнику А.Н. Гервасиеву – идти на город с северо-западной стороны, а командиру 1177-го стрелкового полка майору М.В. Львову со 2-м артдивизионом действовать на стыке первых двух соединений.

Им выпала великая честь взять город

Сохранился уникальный документ – дневник редактора газеты 347-й стрелковой дивизии «Знамя Родины» капитана М. Фомина, благодаря которому сегодня можно восстановить подробности событий тех дней.



Командир 1179-го полка подполковник А. Гервасиев обратился к бойцам со словами: «Мы находимся на подступах к Ставрополю. О значении этого города говорить не приходится. Это краевой центр, важный стратегический пункт на Кавказе. На нашу долю выпала великая честь взять этот город.

Мы с вами безостановочно гоним немцев с Кавказа уже на протяжении многих сотен километров. Неужели у нас не хватит сил, чтобы покрыть новой славой боевое знамя части во имя освобождения Родины от немецко-фашистских захватчиков!»


«В ночь на 20 января 43-го года в окно моего дома на Ташле резко постучали, – вспоминал старожил города Афанасий Федорович Федоров. – Первым делом подумал, что немцы. Накинув полушубок, выскочил во двор. В сплошной метели стояли несколько человек в маскхалатах с автоматами, по которым сразу понял: «Наши!» Все были на лыжах. Старший из них с фонариком и планшетом спросил, где немцы. Я ответил, что по Чапаевскому мосту уходят в сторону Михайловского. Тот посветил фонариком на планшет, и тут же группа растворилась во мгле...»

В три часа ночи 20 января полки 347-й стрелковой дивизии полковника Н.И. Селиверстова начали штурм города на его юго-восточной окраине. Завязался упорный бой. Но пробить оборону с ходу не удавалось. Тогда в центр города решено было отправить группу автоматчиков из 25 человек.

Они должны были посеять панику в стане врага и по возможности предотвратить поджоги и взрывы строений отступающим противником. Старшим группы был назначен разведчик, старший лейтенант Иван Булкин.

К рассвету автоматчики по оврагу вышли в район железнодорожного вокзала. Разбившись по 3-4

человека, двинулись в разных направлениях, завязывая бои с факельщиками зондеркоманды, уничтожавшими важные здания. В этом бою Иван Гурьянович Булкин получил смертельное ранение.

Между тем под напором наших войск враг, бросая технику, начал отступать. По просьбе майора  Короткова его полку доверили первым штурмовать родной город.

20 января 1175-й полк по долине Ташлы ворвался в район железнодорожного вокзала, завязав бой.

К пяти часам утра 21 января 1943 года Ставрополь был освобожден от оккупантов.

Гнать дальше, без отдыха, без перерыва

«Нужно быть великим художником, чтоб суметь передать волнующие картины ликования и радости ставропольских жителей, когда части вступили в город, – писал капитан М. Фомин. – Слезы радости невольно выступали и у тех, кто встречал, и у тех, кого встречали. Бодрой поступью шли по улицам бойцы-пехотинцы, будто не было большой усталости и упорных боев. Почерневшие на ветру лица людей стали веселей, красивее».

Однако, по воспоминаниям очевидцев, наши солдаты имели не такой бравый вид, как о том рассказал капитан Фомин. Владимир Николаевич Иванов, живший в нижней части сегодняшней улицы Лермонтова, рассказывал:

«Утром 21 января вся улица была заполнена обозными бричками и санями, лошади и быки жевали наше сено. Суетились солдатiki, худые, заросшие, голодные. При виде этого воинства внутри у меня все оборвалось: боже, какая же это армия?! Какая у



немцев была техника! А если лошади – то все сытые и чистые, подводы добротные, со всякой тормозной и прочей механизацией...»

Вслед за передовыми частями в город заходили обозные части, еще более своим оборванным и голодным видом вызывая у горожан жалость.

Чуть позднее к городу подошла 276-я стрелковая дивизия 58-й армии. Боец этой дивизии, в послевоенное время известный ставропольский художник, мастер реалистической школы Владимир Александрович Шегедин, вспоминал:

«Вместе со своими однокашниками Петром Михайловым и Ефимом Барласовым мы попросили командование войти в Ставрополь вместе с разведкой, чтобы навестить родителей. По знакомым с детства оврагам, вечером прошли к гулиевской мельнице. Бункеры с зерном были взорваны. Горели склады консервного завода, с треском взрывались металлические банки.

Добравшись до бульвара, у разрушенной бензополонки мы увидели тела двух наших солдат. Горела восьмая школа и завод «Красный металлист». У железнодорожного вокзала шла стрельба. У здания КрайЗО стояла брошенная немцами грузовая машина, набитая продуктами. «Отоварившись», мы разбежались по домам.

Трудно описать радость встречи с родными! Я сбросил с себя грязное, завшивленное обмундирование, которое мать тут же принялась стирать. Сам за сколько времени отмылся, и впервые за последние полгода погрузился в блаженный сон на чистой постели!»

Но немцев надо было гнать дальше – без перерыва, без отдыха. Наши передовые части продолжили свой победоносный и жертвенный путь на Запад.

Оккупационный режим рухнул

Из воспоминаний командующего Закавказским фронтом генерала И.В. Тюленева: «Каких только зим не приходилось мне пережить за свою военную службу... Но нечто неповторимое довелось мне испытать в январские дни в бурных степях Ставрополья.

Такое не забывается. Снежный смерч, вобравший в себя колючий снег и песок, превращал день в мрак, валил с ног, проникал сквозь едва заметные щели, иглами колол лицо, затруднял дыхание. В этих условиях гвардейские части с боями прошли по Ставрополью и Кубани, освободили около двух тысяч населенных пунктов».

За 22 суток Северная группа войск продвинулась на 400–500 км, по всей полосе наступления вышла к третьему оборонительному рубежу противника, а на ряде участков преодолела его.

Конно-механизированная группа генерала Н.Я. Кириченко, совершив по бездорожью 200-километровый бросок, 23 января вышла в район Сальска, где соединилась с частями 28-й армии Южного фронта генерал-лейтенанта В.Ф. Герасименко, наступавшими на Ростов и Батайск.

На следующий день советские войска завязали бои за Армавир, превращенный противником в крупный узел сопротивления на третьем оборонительном рубеже.

Немецкое командование рассчитывало удерживать его в течение длительного времени, для чего стало подтягивать сюда войска с других участков фронта. Но надежды не сбылись: 24 января Армавир был очищен от врага.

Территория Ставропольского края была полностью освобождена 25 января 1943 года. Более 100



тысяч мирных граждан уничтожили гитлеровцы на оккупированной территории Северного Кавказа, в том числе около 32 тысяч человек на Ставрополье.

По подсчетам специальной комиссии, ущерб, нанесенный народному хозяйству края, составил 14,6 миллиарда рублей. Практически повсюду были уничтожены основные промышленные предприятия, здания телефонных станций, школ, театров, институтов, музеев. В сельских районах уничтожено и вывезено большое количество скота и хлеба.

И хотя главную задачу – окружить немецкую группировку – выполнить не удалось, перед командованием вермахта встал вопрос: что делать дальше? Но совершенно точно в ставке Гитлера понимали: об организации нового наступления на Кавказ речь больше не идет.

Война оставила на Ставрополье десятки тысяч вдов и сирот, принесла горе почти в каждую семью... Желтоватый листок казенной «похоронки» – «Пал смертью героя»... Горестный стон, крик отчаяния и на долгие годы, до самой кончины – тревожная, неистребимая горечь безвременной утраты.

Ставропольцы хранят память о героических днях освобождения края. Первым на Ставрополье 6 ноября 1965 года зажегся Вечный огонь Славы в Пятигорске. 28 октября 1967 года от факела, зажженного в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле, вспыхнул Вечный Огонь в столице края на Комсомольской горке.

В 1995-м у мемориала были установлены стелы с именами тех, кто погиб холодной январской ночью, освобождая Ставрополь. 21 апреля 2010 года горожане заложили в стену мемориала памятную капсулу с обращением ветеранов Великой Отечественной войны к будущим поколениям. Откроют капсулу в 100-летнюю годовщину Победы в 2045 году.

Сдано в набор 07.07.2016. Подписано в печать 28.06.2018.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ №03 8-2 Тираж 979 экз.

Дизайн и верстка: Климов А.В.

Корректор: Иванов В.Б.

Отпечатано в типографии «Фаворит»:

394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Трудовая, дом 50, кв. 10.

Тел.: 8-958-649-53-31.